

Олег Стрижак Мальчик

Роман в воспоминаниях,
роман о любви,
петербургский роман
в шести каналах и реках



КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ

Книжная полка Вадима Левенталя

Олег Стрижак

**Мальчик. Роман в воспоминаниях,
роман о любви, петербургский
роман в шести каналах и реках**

Издательский дом «Городец»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6

Стрижак О. В.

Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках / О. В. Стрижак — Издательский дом «Городец», 2021 — (Книжная полка Вадима Левенталья)

ISBN 978-5-907220-57-7

Настоящее издание возвращает читателю пропущенный шедевр русской прозы XX века. Написанный в 1970–1980-е, изданный в начале 1990-х, роман «Мальчик» остался почти незамеченным в потоке возвращенной литературы тех лет. Через без малого тридцать лет он сам становится возвращенной литературой, чтобы занять принадлежащее ему по праву место среди лучших романов, написанных по-русски в прошлом столетии. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907220-57-7

© Стрижак О. В., 2021
© Издательский дом «Городец», 2021

Содержание

Предисловие издателя	7
Как читать роман «Мальчик». Инструкция	8
1. Рассказчик	9
2. Время действия	10
3. «Вариант»	11
4. Незавершённость	12
Книга первая. Город	13
Часть первая. Фонтанка	13
Глава первая	13
I	13
II	14
III	17
IV	19
V	20
VI	22
VII	22
VIII	23
IX	26
X	32
XI	34
XII	39
XIII	41
XIV	42
XV	45
XVI	46
XVII	47
XVIII	48
XIX	50
XX	50
XXI	51
XXII	52
XXIII	54
XXIV	55
Глава вторая	56
I	56
II	58
III	59
IV	62
V	64
VI	65
VII	66
Глава третья	69
I	69
II	70
III	72
IV	74

V	75
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Олег Стрижак
Мальчик. Роман в воспоминаниях,
роман о любви, петербургский
роман в шести каналах и реках

© О. Стрижак, наследники, 2021

© ИД «Городец», 2021

© П. Лосев, оформление, 2021

Предисловие издателя

Я прочитал роман «Мальчик» в начале нулевых. Мне рассказал про него мой научный руководитель Борис Валентинович Аверин. «Это один из лучших русских романов XX века», – сказал он. Я не сразу ему поверил: Борис Валентинович был человек широкой души и, случалось, раздавал оценки в превосходных степенях чересчур щедро. Однако же отправился в библиотеку, взял зачитанный томик в мягкой обложке (Лениздат, 1993 г., 446 стр.) и убедился: да, Аверин прав, это один из лучших русских романов прошлого века.

Ближе к концу нулевых мы в «Лимбус Пресс» с Павлом Крусановым задумали переиздать «Мальчика», но из этой затеи ничего не вышло. Насколько я могу судить, под конец жизни Олег Стрижак вел замкнутый образ жизни, и любое общение – даже с самым доброжелательным издателем – было для него, как сказали бы сейчас, выходом из зоны комфорта.

Тем сильнее моя благодарность наследникам, сестрам Нике и Юлии Стрижак, за то, что долгожданное переиздание «Мальчика» они доверили моей «Книжной полке».

В настоящем издании текст романа предваряет инструкция Фигля-Мигля «Как читать роман „Мальчик“». Она служит чисто технической цели: помочь читателю сориентироваться в сложносочиненной поэтике романа, где есть несколько разных рассказчиков и несколько разных временных пластов, но указания на смену рассказчика или времени не всегда даны «в лоб». Если вы уверены, что справитесь и без подсказки, или хотели бы разгадать все шарады текста сами и не боитесь запутаться, – можете эту инструкцию пропустить.

За текстом романа читатель найдет эссе «Наш брат Олег Стрижак», принадлежащее перу Ники Стрижак. Это ни в коем случае не сухая подробная биография и даже не материалы к ней – это личные воспоминания близкого человека.

Текст романа публикуется без редактуры и сверен по изданию 1993 года. Зная о том, с каким вниманием автор относился к каждой мелочи в своем тексте и как тщательно его вычитывал, мы оставили авторское написание даже в тех случаях, когда современная орфография и пунктуация склонны к другому варианту. Исправлены лишь несколько очевидных опечаток в тех случаях, когда вариантов нет. Кроме того, приведено к единообразию использование буквы «ё».

Что касается романа «Вариант», который вышел в шестнадцати выпусках по 48 страниц с 2000 по 2004 гг. и который одновременно продолжает сноску из «Мальчика» и вместе с тем является самостоятельным произведением, то мы готовим его к печати вслед за «Мальчиком» и скоро представим читающей публике. Надеемся, что новой книги будут ждать не только те, кто давно знает и любит Стрижака, но и те, кто откроет его для себя благодаря настоящему изданию.

Вадим Левенталь

Как читать роман «Мальчик». Инструкция

...примерно так она говорила (или не говорила, трудно записывать; всякое письмо: перевод с внутреннего на иностранный, на незнакомый, постичь не умею наших господ сочинителей, бондарят книжку за книжкой, клепают, или у них внутри ничего нет? или уже готовыми фразами всё чувствуют? то, что я вижу и чувствую, вообще не переводимо на язык).

Гл. 7 второй части, VIII

«Мальчик» – не самое лёгкое чтение, и вместе с тем единственное, чего он требует – это внимательности. Даты всех ключевых событий указаны. Действующих лиц не так много и они хорошо различимы. Не нужно даже, для чтения «Варианта», знать всемирную историю – вам всё расскажут. Если вдруг читатель всё же почувствует себя заблудившимся в дремучем лесу, он может обратиться к предлагаемой инструкции.

1. Рассказчик

В романе два рассказчика; оба говорят о себе «я»; главная подстерегающая читателя трудность таится в намеренном отказе автора разместить крупноформатные вывески и указатели. Так, на протяжении двух первых глав мы постепенно привыкаем к Сергею Владимировичу-оцкому, литератору и автору романа (сожжённого на первой странице той книги, которую читаем мы) о Мальчике, но уже в третьей главе повествование переходит к Мальчику (нет, это не герой рукописи Сергея Владимировича, а сам Мальчик) – и понять это при первом чтении удаётся не сразу: без всякого предупреждения одно «я» сменяется другим. (Ключевое слово – отчим. Того же человека Сергей Владимирович называет Хромой.)

Четвёртая глава – это несколько страничек «из тетради с листами в зелёную клетку»; «тяжёлой, важного формата тетради, где листы, увядшие и пожелтевшие, расчерчены были, капризом типографии, в крупную зелёную клетку»; история тетради включает в себе много тайн, подробно о её судьбе – гл. 5, XX; и хотя Мальчик – её последний владелец, а Сергей Владимирович слышал чтение отрывков из этой тетради в доме Насмешницы, автором очевидно не является ни тот ни другой. (Кроме тетради, по роману путешествует рукопись сочинённой Мальчиком пьесы «Прогулочная лодка», «истерзанная, зачитанная пачка грязных листов, какой-нибудь седьмой экземпляр, с кружком от кофейной чашки на листе титульном»... Пятно, кстати, посадил Сергей Владимирович, который, похоже, так и не узнал об авторстве Мальчика.)

Пятая и седьмая главы возвращают нас к Сергею Владимировичу, а шестая и Приложение – к Мальчику, причём действие и шестой главы, и седьмой происходит в больницах (и это разные больницы в разное время). Сергей Владимирович попал в свою осень 1980 года, после того, как прочёл августовскую рецензию (подробно о ней – Часть первая гл. 5 XIX и Часть вторая, выпуск первый, 6) и сжёг свой роман; а Мальчика кто-то (узнаем ли мы когда-нибудь кто? уж не он ли сам?) пытался убить летом 1976-го, и почти преуспел... до того преуспел, что Сергей Владимирович в 1980-м не может поверить, что Мальчик жив, что ему удалось выкарабкаться: «ведь труп его я видел своими глазами четыре года назад».

2. Время действия

Поздней осенью 1980 года, в больнице, Сергей Владимирович вспоминает события осени 1969-го, «осень 1969-го, и июль 1975-го, то, как в 1969-м я вспоминал 1961-й, и как в 1975-м вспоминал 1969-й: всё это никак не укладывается в единую картинку» (Глава пятая, VIII); эти фрагментарные воспоминания составляют первую, вторую, пятую и седьмую главы; в седьмой же главе приведена, в форме отрывочного конспекта, вся биография Сергея Владимировича.

Мальчик в третьей главе описывает один день в начале января 1980 года, в шестой – своё пребывание в больнице с осени (во всяком случае, в себя он пришёл только осенью) 1976-го по июнь 1977-го, и в Приложении – какой-то из весенних дней 1975 года («мне шёл уже двадцать пятый год»), когда он вспоминает сперва события годичной давности, потом – себя восьми-летнего, в январе 1959-го. (Согласовав свидетельства и намёки, можно, пожалуй, утверждать, что родился Мальчик в том же, 1950-м, году, что и автор, и день рождения у него – поздней осенью или в декабре.)

3. «Вариант»

«Вариант» – это историософская солилоквия, не имеющая прямого отношения к главному повествованию, хотя в ней изредка упоминаются почти все главные действующие лица. Предположительно, это сделанная Сергеем Владимировичем запись монологов Насмешницы (Елены) в Грибоедовской академии, с редкими и нераспространёнными комментариями Сергея Владимировича.

«Вариант», хотя он и набран параллельно основному тексту на манер примечаний, не следует – и даже категорически нельзя – читать параллельно с главным повествованием. И то и другое требуют сосредоточения. В «Варианте» нет ничего, что было бы необходимо для понимания основного текста. Без соответствующей (и редкой в наши дни) выучки параллельное чтение только сойдёт с толку и без нужды раздражит.

Скорее всего, такой облегчённый подход противоречит авторскому замыслу, ведь автор мог выделить «Вариант» в самостоятельную вторую часть или ещё одно приложение, а не идти на типографские ухищрения – в обречённой, заранее проигранной борьбе с линейностью повествования и, в особенности, восприятия.

«Из четырёх писателей трое уверенно скажут (четвёртый только икнёт), что узел моей медлительности легко развязать, если всё говорить по порядку (хвала Господу, я не писатель); вот – худший из способов изложения! ведь движение-развитие жизни, все таинственные зацепления всех незримых и зримых крючочков и петелек всевозможных реальностей и ирреальностей: никак не подчиняются казённому перечислению событий...» – часть вторая, выпуск 1-й 4.VII.

Подобная попытка (и блистательное поражение) существует в кино: в одном из фильмов Майка Фиггиса («Отель», 2001) экран разделён на четыре части, каждая показывает что-то своё, а зритель – смотри куда хочет; беда и проблема в том, что, глядя на четыре экрана разом, не видишь ни одного, а глядя попеременно, чувствуешь себя службой безопасности, футбольным комментатором, и в любом случае на работе. Добавим, с позиции того четвёртого, который только икнёт, что это плохо для нервов. Читатель не может одновременно, абсолютно одновременно читать две разные книги; переходя ко второй, он отвлекается от первой, пусть она и продолжает мерцать на периферии сознания.

4. Незавершённость

Мы имеем дело только с вершиной айсберга. (Очень хорошо, так сказать, темперированного.) Первая часть («Фонтанка») первой книги («Город») – это шестая часть всего романа («петербургский роман в шести каналах и реках»). Достоверно можно сказать, что Третья часть называется «Канал Грибоедова» (Приложение – это глава 16-я из части 3-й, «Канал Грибоедова»), а предположительно – что среди названий должны фигурировать Мойка и Карповка, реки, тесно связанные с жизнью героев.

Хотя название романа вроде бы недвусмысленно указывает на главного героя, считаться таковым может и Сергей Владимирович, и здесь всё зависит от выбора, который сделает читатель, и его, читателя, личных симпатий либо отторжения. Мы знаем, что путь Мальчика был путём вверх (каторжная юность, несколько месяцев между жизнью и смертью, горести непризнанного гения, наконец – публикация в «уважаемом журнале» и «голос по радио»). Мы знаем, что путь Сергея Владимировича был путём вниз (раннее признание и слава, крушение, написанный в нищете и одиночестве роман; написал роман о Мальчике, прочёл рецензию Мальчика (которого считал погибшим) на этот роман, сжёг рукопись, последнее, что у него было, попал в больницу и пишет там записки, которые читаем мы). И мы даже гадать не можем, что же произошло роковым летом 1976 года, в «чёрный день 23 августа».

Мы можем, конечно, вообразить, что это сам автор, Олег Стрижак, проигрывает два варианта собственной судьбы. Сергей Владимирович старше Мальчика на двенадцать-четырнадцать лет, у него другой, хотя тоже тяжёлый, жизненный опыт, он прямо противоположным образом распорядился своим талантом, и в его жизни Мальчик – «дьявол-мальчик», «трижды подшиб Мальчик мою жизнь» – с 21 октября 1969 года начинает играть роль какого-то чёрного демона, ненавидящего. (Источник этой отвратительной ненависти читателю становится понятен далеко не сразу, а Сергею Владимировичу – только под конец: «не слишком ли дорого я расплачиваюсь за дурацкую встречу в сентябрьском переулке на берегу Ждановки четверть века назад?»)

Ещё раз: мы остаёмся в неведении относительно очень важных (но главные ли они?) моментов. Что произошло 23 августа 1976 года; как и почему умерла Насмешница (в том же августе 1976-го, между прочим). Изобразительная мощь романа отвлекает, конечно, от «казённого перечисления событий» (и да, со времён Бунина не было таких наилучших слов в наилучшем порядке [...и это божественное внимание к детали; нежелание – подчеркнутое – торопиться; автор и мимоидущую, по улице, безымянную девочку опишет вдумчивее, подробнее и живее, чем иной сочинитель – главную героиню; и беглая насмешка над этой же своей особенностью; эти несколько отрывков дают, на наш взгляд, известное представление о ненаписанной Мальчиком восьмой главе; всего в рукописи восьмой главы более семисот страниц... ненаписанной, каково! и восемь тысяч страниц в том романе Мальчика, который сожгли соседи Мальчика по коммунальной квартире, сказав: не Гоголь...]), и если читатель предпочтёт зачарованно рассматривать текущие, мерцающие узоры из слов и образов – исполать такому читателю. Но в книге есть сюжет, есть история, со своими хитросплетениями; не следует ими пренебрегать.

ФМ, навигатор

Книга первая. Город

– *Raul!* – закричала графиня из-за ширмов, – пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

– *Как это, grand'tata?*

– *То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!*

– *Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?*

– *А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!*

А. С. Пушкин. «Пиковая дама»

Часть первая. Фонтанка

Глава первая

I

В ту пору мне было чуть больше тридцати лет... много времени и различных перемен протекло с той загадочной поры; я влюблялся, разлюбивал, зачем-то женился и уходил от прелестных женщин, был счастлив и горько плакал в отчаянии одиночества, жил долго один, сочинил прекрасный, как думалось мне, роман и затем сжёг его. Смешно, но роман сжечь трудно. В городе, где забыли не только камины, но и печи: и кафельные голландки, и широкобокие кухонные, в таком городе проще выбросить рукопись в мусорный ящик; на моё счастье, на набережной рядом с домом, где жил я тогда, гудел под железным коробом, натужно бился огонь, сентябрьским утром здесь размягчали асфальт, чтобы выкопать для чего-то канаву. В гудящем успокоительно огне все три варианта рукописи и шуршащая груда черновиков растаяли беззвучно и без следа. Исчез герой мой, безжалостный Мальчик, исчезла героиня, возлюбленная моя, Насмешница, почернели, сгорели чугунные ограды каналов, колоколенки, липы, исчезли пять окон, что светили уютно в декабрьских сумерках на замёрзший, в синем снегу, канал Грибоедова... всё сгорело.

За высокими и не очень чистыми окнами снова Фонтанка, нехорошая осень: судьба привела меня вновь к началу, к серым, тёмным широким водам Фонтанки. Шлёпая по истёртому кафелю скользкими, слишком просторными для моих ног тапками, в коротких, нелепых больничных штанах, я бессмысленно, как многие из находящихся здесь, брожу вечерами по холодным и полутёмным коридорам огромной неуютной больницы. Я давно не бывал в этой части Фонтанки, и как выглядит эта больница снаружи, совершенно не помню. Знаю, что, обратив на Фонтанку грязноватый фасад, она стоит рядом с торжественным, грузным собором. За окнами, за облезлым сквериком, за прутьями тощей ограды видны Фонтанка, деревянный пешеходный мост с железными перилами, начало Крюкова канала.

Темнеет рано и как-то безнадежно. В темноте растворяются Фонтанка, мостик, Крюков канал. Чёрные голые стёкла слезятся. Сквозняк вносит сырость, запах мокрых слежавшихся листьев. Чёрный мокрый осенний вечер. Горят под дождём фонари. Выпустить меня отсюда пока не собираются, да и некуда мне идти в темноте под фонарями и парусящим дождём.

По утрам иногда, глядя в профессионально заботливое лицо врача, я пугаюсь: не хочет ли он оставить меня тут совсем? нервы разбродились, ужасы палаты номер шесть, ничего, ничего,

говорит мне врач, не волнуйтесь, волноваться вам вовсе не следует, всё хорошо; ему лет двадцать восемь, и он ко мне добр; и я с горечью чувствую, что я для него простительно немогущен, стар, я ему неинтересен, ничего, говорит он с улыбкой, улыбка бы мне помогла, если бы точно такую же я не видел на его лице, когда он разговаривает с другими больными; и я, как обычный больной, ревную, с сёстрами и врачами он смеется и разговаривает иначе, он очень молод, весел, кем-то любим, ничего, говорит он с улыбкой, не волнуйтесь, мы зря вас держать не будем. Можно подумать, мне есть от чего волноваться. Можно подумать, что я тороплюсь. Торопиться мне некуда, вот об этом я думаю совершенно без горечи, ни один человек на земле не помнит меня и не ждёт. Желаний у меня нет. Иногда я играю с соседями по палате в домино и даже выигрываю. Им это приятно. Они чувствуют себя неудобно оттого, что в приёмные дни ко мне никто не приходит, никто не приносит мне апельсины, сметану и варёную курицу. К еде я давно равнодушен. Здесь мне спокойно. Жизнь за мокрым больничным крыльцом меня, признаться, страшит. Крупным почерком я исписал половину толстой тетради... зачем? от неуверенности, пустоты, что бродит вокруг, и в моей груди, и заставляет мои пальцы дрожать, пустота пришла перед тем, как я сжёг мой роман, мне дано было вдруг понять, каковы же бывают власть и мучительная жестокость зарождаемой тобою, созданной твоим мозгом, твоими пальцами рукописи... и я сжёг роман, пользуясь тем, что рабочие куда-то ушли, сжёг, пачку за пачкой, листок за листком, и корзину, в которой принёс к огню много бумаг, я бросил в осеннюю Карповку.

Всё окончилось речкой Карповкой; а начиналось Фонтанкой. Фонтанка! затем был канал Грибоедова, Мойка; затем Петроградская сторона, Кронверка, тихая Карповка... что же будет со мной? судьба, описав кольцо, привела меня вновь на Фонтанку, и это меня пугает. Мистика петербургских рек и каналов не отпускает меня, и кружится в мыслях нелепица вроде: Нева родила Фонтанку, Фонтанка родила Мойку, Мойка родила Грибоедов канал. Канал Грибоедова вернулся в Фонтанку. Фонтанка и Мойка вернулись в Неву, так случилось однажды, и длится – всегда... вечерние чёрные стёкла слезятся. В полутёмных длинных коридорах гремят по старому кафелю бидонами, скоро ужин; судя по запаху, перебивающему даже дух дезинфекции, кормить будут кислой тушёной капустой; и впервые, впервые за много лет я испытываю странное чувство лёгкости и свободы. Я испытываю чувство лёгкости и свободы оттого...

II

В ту пору мне было чуть больше тридцати лет; была у меня красавица жена и была необычайно прелестная любовница из самых известных в городе молодых актрис, привязанность эта была ни обязательна, ни так уж необходима мне, но была достойна, окружена вниманием и роняла на меня приятный золотистый отблеск, о ней знал весь город, за исключением, разумеется, моей жены¹.

¹ Начиная с этой страницы вся принесенная нам рукопись испещрена пометками и замечаниями. Её читали, неизвестно почему и зачем, многие лица и недвусмысленно выражали своё мнение: и карандашом, иногда красным, зелёным, который трудно стереть, и неуважительно чернилами, не имея ещё понимания, что на рукописи, чужой, непозволительно рисовать чернилами; для примера разнообразия этих мнений приведём из них несколько, взятых с разных страниц наугад: «...Великолепно! – Мерзость. Запретить о подобном писать! – Глупо. Вымученно, надуманно, слащаво и скучно... – Автора нужно взять за руку и отвести в ликбез. – Да. А Бена отдайте служить во флот. – Читать это решительно невозможно... – Неправдоподобно! Не бывает, и быть такого не может! – Умничанье. Кокетство. – Идиотам сию рукопись не давать. – Что-то я читаю, читаю и вообще перестала

понимать, что тут к чему, что с кем происходит... – Стихи нужно писать в столбик. В столбик нужно стихи писать! В столбик! В столбик! Почему не в столбик?! И почему не объяснено, чьи стихи?.. (подпись, жирными фиолетовыми чернилами: *Капитан 2 ранга в отставке Чернышов!*) – *Хоть и второго ранга... а столбик! – Ну, уж это враньё. Водку всегда продавали с одиннадцати. – Надо знать. До семидесятого года водку продавали с десяти утра и в дежурных гастрономах до полуночи. Стыдно не знать! – Гнусный поклёп! Илья Семенович Ляговитый, которого автор выводит под прозрачным прозвищем Пень, кристальной души человек и очень талантлив! – Клубничка... хе-хе. – Дать автору решительный бой!.. – История штука вообще очень тёмная... – Чудесно! Таких книг давно не было... – и не нужно!..* – и категорическое, синими чернилами: – *Издать можно. Урезать в 2 раза!*» – таких и подобных им помет в рукописи многие сотни, и взгляд невольно начинает искать уже среди них что-нибудь вроде: «Не унывай, жандарм!» Имелись у рукописи и читатели вдумчивые: на полях и на обороте страниц можно встретить указания на источники, которыми пользовался или которые оставил без внимания автор, возражения, дельные и серьёзные, но применимые, увы, к монографиям, а не к вольному литературному труду, можно встретить маленькие трактаты, посвящённые теоретическим вопросам русской и иноземной прозы, истории мировой эстетики, городскому пейзажу в петербургских литературе и живописи и даже сравнительному истолкованию Упанишад. После изучения этих заметок возник вопрос: следует ли учитывать их при издании. *Издатель*, т. е. человек, принесший в издательство неизвестную рукопись и пожелавший в дальнейшем именовать себя именно так, утверждал, что *на всякий чих не наздравствуешься*, но что заметки можно было бы при издании присовокупить к тексту в качестве курьёза и неких вех на пути читателя; тут воспротивились мы, возражая резонно, что если начать печатать всякий чих, то никакой бумаги не хватит; и помирились на том, что любой из читателей может сам начертать на полях книги любимейшее своё выражение, равно как и всё, что захочется и покажется ему нужным: для того поля в книге и существуют. Мы решили оставить в издании лишь необходимейшие из примечаний, принадлежащих лицам, причастным к течению изложенных в рукописи событий и к изданию рукописи. Таковыми лицами являются: 1) литератор Сергей Владимирович -оцкий, 2) герой рукописи по имени *Мальчик*, 3) человек, пожелавший именовать себя Издателем, и 4) редактор рукописи. Прочие мнения и замечательные высказывания, запечатлённые на листах изрядно, заметим, истрёпанной (и залитой кофием и вином) рукописи, мы сохранили в неприкосновенности. Желаящие ознакомиться с ними могут обратиться в установленном порядке в архив Издательства. – *Прим. Ред.*

Моя прелестная девочка была в ту пору в фаворе, много играла в театре, неожиданно и сразу стала много сниматься в кино и была любима режиссёрами, рецензентами и портнихами, её привечали повсюду, и всюду, спокойно гордясь моей пленительной, ленивой, скупающей девочкой, входил с нею вместе я, вероятно, я был ей удобен, известный, в меру, литератор и человек, театру посторонний, что исключало многие толки, удобен и даже привычен, но любила ли она меня? не знаю, временами мне кажется, что подобные девочки вообще не умеют любить, возможно, это умение приходит к ним с возрастом, но в двадцать лет они умеют лишь брать и брать, помыкала мною она жестоко, но стоило мне уйти и не появляться несколько дней, как она начинала нервничать, злиться, всё у нее валилось из рук, и в конце концов она

в бешенстве садилась в первую подвернувшуюся машину и неслась по всему ночному, व्योужному городу разыскивать меня, с тем лишь, чтобы учинить, со слезами и обидчивыми обвинениями, сцену, ты же знаешь, что мне без тебя скучно. Шёл ей тогда двадцать третий год. Вряд ли любила она меня, но сейчас мне приятно и дорого вспомнить о том, как без слов она мне себя доверяла, со всеми милыми и драгоценными мелочами её жизни, которой, мне думается, никто, кроме меня, и не знал, любил ли я её? не думаю, даже в ту пору я не был в этом уверен, я любил любоваться ею, любоваться походкой и жестом, блеском ногтей и капризным движением губ, злыми зубками, и, уже разленившись, разнежившись в свои тридцать лет в сладкой, ласкающей лени, я с суеверным, немим уважением смотрел на эту маленькую, злую, беспощадную труженицу. Знал ли кто-нибудь, кроме меня, в какой безжалостной узде держала она себя, какими мучениями у балетного станка наказывала себя поутру за каждый, выпитый накануне, бокал вина, знал ли кто-либо, что спала она в сутки по три, по четыре часа, что, возвратившись к себе поздней ночью, она раздражённо стаскивала тряпки и с наслаждением падала в ледяную ванну, ванна преображала её, как в сказке, ударялась о воду угрюмая соколица, а поднималась дрожащая, в каплях холодной воды, худенькая царевна с испуганными и горящими восторгом глазами... и я заворачивал её в тяжёлый халат. Не обращая на меня внимания, она деловито забиралась в расстеленную мною постель, раскрывая книгу и на шаривая на столике сигареты, к любви она долгими неделями была равнодушна, отмахивалась недовольно от моих ласк, ты мне мешаешь, книги, рукописи, пьесы разбросаны были по всей квартире, мне не привелось узнать, кому принадлежала эта квартира с окнами на Фонтанку, Мойку и Летний сад, читала моя девочка с какой-то звериной жадностью, необыкновенно быстро и цепко, читала так, словно в год хотела познать все романы и пьесы, написанные на земле, засыпала она вдруг, уронив беспомощно книгу и зажав в жалобных пальцах дымящую тонко сигарету, не без труда я отнимал сигарету и гасил с сожалением свет, с улыбкой думая о всех мальчиках и мужчинах, завидовавших мне и мечтавших провести с моей девочкой ночь, и я засыпал в темноте, стараясь не потревожить её и слушая, как скребет жёстким снегом ветер по вымершим набережным, будильник звонил в шесть. Господи, с каким стоном поднималась она! какая тоска, бессловесная жалоба, отвращение к жизни звучали в этом стоне, хныкая, жалуясь, она отводила назад плечики, позволяя халату соскользнуть тяжёлыми складками на пол, натягивала, не обращая на меня внимания, трусики и нехотя, угрюмо ворча, волоча ножки, шла к балетному станку, никогда не забыть мне, что она с собою выделявала, сколько презрения, неприязни было в ней к её худенькому, гибкому телу, я застилал постель, варил кофе, выпивая свою первую рюмку, вызывал по телефону такси, с чёрным кофе я выпивал вторую рюмку, на это она не обращала внимания, она читала, роняя и смахивая со страниц крошки, в зимней предутренней темноте, кутаясь на заднем сиденье в шарфы и мех, мы пролетали по тёмным мостам, по булыжнику и асфальту ночных и безлюдных островов Петроградской стороны к бассейну на заснеженном, чёрном от зимних деревьев Крестовском острове, под пролетающими во тьме голубыми фонарями она пыталась читать роль и сердито, сонно выговаривала мне за то, что я проигрываю сумасшедшие деньги в карты вместо того, чтобы купить машину и избавить её от пытки в такси, где вечно дует, дребезжит, потом она мучила и ломала себя в зале и, раззадорившись, повеселев, звонко резвилась в зеленоватой воде бассейна, вызывая шумное и утомляющее меня одобрение пришедших на раннюю тренировку ватерполистов, нарезвившись, она мрачнела и сосредоточенно, сумрачно начинала набирать свои утренние пятьсот или восемьсот метров; сидя на узкой скамеечке в холодном утреннем зале бассейна, запахнувшись в шубу, я от нечего делать читал её новую роль, всякая новая роль, по моему убеждению, была ужасна, роль для полного провала, но это её не заботило, глупый, я же должна играть, и она играла, играла прекрасно, или мне это только казалось от безмерной моей влюбленности, и капризничала, как умела только она, самому Щелкунчику, в пьесе которого она сократила двухстраничный монолог медсестры до трех слов, она сказала,

презрительно двинув плечиком, не Лопе де Вега, я приготовился наблюдать, как Щелкунчика хватит удар или как он потребует снять её с роли, но маленький, лысый, великий Щелкунчик и на этот раз был всех умней, всплеснув ручками, он впал в восторг, засмеялся счастливо и вечером в ресторане Дома Искусств похвалялся моей злобой так, будто сам её выдумал, я не видел, как записывали ту сцену, моя девочка резко, сердито потребовала, чтобы я вышел вон, и я молча ушёл от пятна очень яркого, сильного света в полутемной утренней студии, господи, я один во всем мире знал, с какой отчаянной жалобой, хныканьем и ворчанием поднималась она задолго до зимней зари, и она меня выгнала, я ушёл и долго, мне помнится, не появлялся в её доме на набережной Фонтанки, где из окон видны были воды Невы, Кронверки, Фонтанки и Мойки, мосты, решётки Летнего сада, тёмный камень и золотые шпили Замка и Крепости, *ты не понимаешь*, говорила она, *под окнами дома всегда должна быть и плескаться вода, от воды свежесть, дыхание, ветер, растворяешь утром окно, и как в гости к старику Лансере, всё дрожит, всё покачивается на воде, подёрнуто холодком и туманом, и солнцем, всё зыбко, дрожат все оттенки, каждый гребень волны имеет свой цвет от тумана и солнца, капли воды на камне и на листе, и волна стучит в камень, как в днище, и Город покачивается на воде, как пришедший ночью из плавания отсыревший фрегат, как ты не понимаешь*, не в силах долее жить без неё, я пришёл, освещённая вечерующим красноватым солнцем Фонтанка лежала в грязном весеннем снегу, спектакль по пьесе Щелкунчика мы смотрели с ней вместе, в постели, тот мартовский вечер был у неё выходным, разгрызая орешки, фундук, я смотрел телевизор, она равнодушно читала, монолог медсестры был сведён к открывающим его не слишком удачным словам *как вы можете*, лениво раскинувшись и куря, в распахнувшемся на груди тяжёлом халате, моя девочка быстро и очень внимательно читала чёрно-зелёный том Диккенса, и она же была крупным планом на блестящем сером экране, как вы можете, тихо сказала она, и нижняя губка у неё предательски задрожала, как вы можете, губку она прикусила, но слёзы, обидные, горькие, уже полились, как вы можете, сказала она, закрывая глаза, и я понял, что женщины, плача, закрывают глаза в безутешной надежде, что их слёзы и стыд этих слёз никому не будут видны, как вы можете... губы её кривились от отчаяния и слёз, и, плачущая, беззащитная, так щемяще была дорога мне, *как вы можете*, она зло, разметнув кудряшки, отвернулась и заплакала безысходно и жалко. *Выключи*, раздражённо сказала она и зло дернула губками, показав на мгновение злые зубки, *не Диккенс*, эту гримаску раздражённого неудовольствия я знал, я поднялся, бросив в пепельницу горсть ореховой скорлупы, и выключил телевизор, вот писатель, вздохнула она, господи, был же писатель на свете, и с непонятною мне тоской провела пальцами по страницам раскрытого тёмно-зелёного тома, я бы *всех* у него сыграла, и старух, и леди, и нищенок, и сопливых девчонок, боже, какой писатель. Читаю всю жизнь, и на каждой странице хочется плакать, ну, почему же, не очень уверенно возразил я, там есть очень смешные места, и она снизу вверх посмотрела угрюмо, будто я вдруг сказал нестерпимую глупость.

III

В зимней утренней темноте мы мчали в машине, под заснеженными деревьями, под голубыми огнями, из бассейна, с Крестовского острова, на телевидение, где была репетиция, запись, в одиннадцать репетиция в театре, днём Ленфильм или радио, вечером театр, после спектакля ужинали в ресторане, затем ехали в гости, отдохнуть, посмеяться, дать кому-нибудь случай влюбиться, или ехали на перезапись, или, *Красной Стрелой*, под медлительный гром Глиэра, помахав мне небрежно варежкой из уютного, по-ночному поблескивавшего тёмно-малинового вагона, она уезжала на съемки в Москву, зима была снежная, тёмная, за ночной темнотой наступали морозные синие утра, а я не замечал ничего, лишь она была перед моими глазами, я, наверное, был бесконечно влюблён, а она была всюду, дерзила, дразнила, отражалась в зеркалах парикмахерских, дорогих портних, театральных уборных, в зеркалах балетного

зала, брала уроки фортепиано, глупый, зрительдохнет от скуки, когда актрису сажают к роялю и не показывают рук, прыгала с вышки в новом бассейне на Лесном, скакала по зимнему лесу верхом и стреляла из пистолета в тире в старом парке на Выборгской стороне, профессионалов она покоряла не очарованием, не красотой, которыми жёстко владела, но мрачноватой решимостью всё уметь и чистым бесстрашием, которое мне представлялось порой безумием, и для чего, думал я, для того ли, чтоб явиться свету ленивой, капризной, изнеженной, чтобы с презрительной гримаской, выставив губку, привередничать в дорогом ресторане, я решительно не понимал её, презрительно выставив губку, она сообщала людям невероятные гадости, и все кругом восхищались, нет, вряд ли любил я её, слишком тревожно, неудобно было мне с ней, тревожили меня её неженские холодность и расчётливость, которые она не считала нужным показывать миру, её твердость и двойственность её в ощущении жизни, она жила так, словно единственный смысл её существования заключался в безжалостной, беспощадной выезде, она натаскивала себя, готовя к мучительному и великому завтра, и в то же время она жила так, словно нынешний день обещал быть последним, безбожно опаздывая на вечерний спектакль, понукая сердито шофера, она останавливала машину, чтобы сквозь голые чёрные деревья на Каменном острове увидеть над сизым, вечерним снегом реки весенний закат, о чём она думала в эти две или три минуты, глядя в закат зеленоватыми большими глазами? не знаю, вздохнув, она раздражённо, со звоном захлопывала дверцу, *ну поехали же*, натягивая перчатку, *поехали!* я сказала *ведь, я опаздываю*, я безумно любил её, уставшую, когда она засыпала в машине, откинув на спинку голову и беспомощно приоткрыв мягкие губы, и проснувшись внезапно от толчка, распахивала испуганные глаза и глядела вокруг с огромным и радостным любопытством, любопытство её было неукротимо, любопытна была она, как юная кошка, ей нужно было увидеть всё, новый необычный дом в Гавани, нежный белый цветок, распустившийся белой ночью в оранжерее Ботанического сада, в сильный дождь непременно ей надобно было увидеть буддийский храм в Старой Деревне, *представляешь, буддийский храм в дождь!* и в мягких декабрьских сумерках смотреть медленный снегопад, *снегопад смотреть нужно с моста, обязательно с деревянного, едем на Гренадерский, а потом к Петропавловке, на горбатый мостик, оттуда на город самый чудесный вид!* увидеть одуванчики в мае на полянах Петровского острова, живя в Городе пять или шесть лет, она знала его насквозь, до поленниц и вечно сырых проходных дворов, заболоченных пустырей и песчаных отмелей взморья, не знаю, откуда явилась она, *вспоминать* она не любила, она явилась на каменные берега, как трава весной меж гранитных плит, работала на какой-то фабрике, вечерняя школа, дневное отделение инженерного вуза, занеси её ветер в Париж, усмехнулся я как-то, и она через год завоюет его, *безусловно*, холодно отвечала она, раздражённо оскалив зубки, похвал она не терпела, и когда под аплодисменты, недовольная и сердитая, она входила со сцены в кулису и у неё принимали цветы, и, наклонясь к ней, доверительно, бархатным голосом, говорили, что она умница, что она замечательна, просто божественна, её губки дёргались в злой и презрительной гримаске, обнажая сердитые зубки, похвал она не терпела и молча ценила моё умение никогда не болтать с нею о её успехах, редкое проявление мужского ума, я же был вечно признателен ей за одно молчаливое позволение провожать её изредка в спортивный зал инженерного института, близ Фонтанки, где недавно насвистывала она студенткой и откуда, со сцены студенческого театра, взойшла прямо на сцену прославленного академического, в те давние годы случалось такое, главный режиссёр знаменитого театра был отважен, и девочка в отваге ему не уступила, бесстрашно выйдя пред бархатом и позолотой лож, на затоптанный планшет сцены, под слепящий цветной свет софитов и чёрную ненависть труппы, мне позволялось провожать её вдоль осенней Фонтанки в спортивный зал института, потому что *там* я увидел её впервые; я не знал, что она актриса, что она известна, талантлива, избалована и капризна, и сюда прибегает раз в месяц погонять с подружками по институтской сборной мячик, я не знал, не сумел разглядеть, как она хороша, я просто *увидел* её, зайдя в зал от скуки, поджидая не помню кого, я

увидел её, и после игры, потерянно и несмело, загородил ей, маленькой, взмокшей, злой, вход в раздевалку, не гони меня, сказал я, я смотрел на тебя... всю игру, я уже не могу без тебя, я смертельно и совершенно непредставимо влюбился, я люблю тебя, она с усталой гримасой посмотрела на меня снизу вверх и, вздохнув, дыша всё ещё тяжело, сказала невесело и недовольно, *что же делать теперь, терпи*, ей всегда и в любом занятии наплевать было, следят или не следят за ней праздным и опустошённым от неверия взором, но великолепней всего, забывая об окружающем, существовала она в игре: с лицом, искажённым азартом и злостью, высвеченным внезапно злой радостью, мокрым от пота, со спутавшимися и сбившимися в мокрые пряди волосами, в узких черных трусиках, с голыми тугими ногами, в тонкой красной, с пятнами пота, футболке, под которой дрожали и бились её маленькие груди с торчащими туго сосками, она двигалась стремительно, резко, видя всё поле, останавливалась в рывке, замерев в неправдоподобном повороте плеч, будто не замечая тех, кто пытался отобрать у неё мяч, и тугой баскетбольный мяч гулко бился под её узкой, сильной рукой, уводимой неуловимо вбок, за спину, под колено, другая рука негодуя, напряжённо указывала в угол или под щит, и моя девочка яростно, приказывая, кричала, злость, упрямство, бесстрашие, которое так понятно пугает многих, и холодная яростная уверенность в том, что выигрыш будет всему вопреки, крик в гулком зале, резкий и властный крик юных женских голосов, передача, проход, бросок, так, что сетка распластывается вслед за мячом... два очка. Мою девочку одобрительно треплют на бегу по плечам, и она, на бегу оголяя узкую взмокшую спинку и подтягивая сзади трусики, отвечает презрительной злой гримаской, показав на мгновение зубки, похвал она не терпела.

IV

Осень стоит над Фонтанкой; осень. Сентябрьская книжка уважаемого ленинградского журнала раскрыта передо мной. Того самого журнала, высокие тёмные окна редакции которого укрыты в тени тёмных лип на старинной, с покривившимися камнями набережной Мойки. В книжке есть повесть, написанная молодым человеком, повесть о мальчике, росшем на берегу окраинной городской речки, и в повести есть глава, посвящённая условностям прозы. Проза условна насквозь, говорит молодой человек, и как известный художник написал снег бордовым, чтобы снег под огненной полосой заката на холсте стал для глаза весенним серым, точно так и в писании прозы смысл и цвет должны быть неуловимо сдвинуты, исключительно для того, чтобы читателю виделось то, что художник хотел написать, но это заботы уже ремесла, чистой техники, которая у мастеров заключена в интуиции, но не подменяется ею... понятно мне здесь не всё. Но я помню, как в синем папиросном дыму, ночами над моей, ненавидимой мною, рукописью я приходил в отчаяние. Ускользали не только слова, ускользала истина, и я с горечью убеждался, что заполнение чистого поля словами есть занятие бессмысленное и тщетное. Единственно утешает меня бесцельность моих записок *по следам романа и жизни*, моя девочка не захотела стать героиней романа, и мне снова не удаётся словом приворожить её, и меня это остро печалит, форма пластически вылепливается как бы сама, говорит в главе повести молодой человек, по неведомым нам законам, сущность формы в её избирательности, она избирает, что читателю принести, как приносит вода в половодье, и что утаить, умолчать, сентябрьская книжка журнала уже затрепалась, повесть про маленького мальчика, которому не дают читать книги, написана тонко и весело, соседи мои по палате сыто ржут, читая её, но от мнимой весёлости лёгких страниц мне ночами, больничными, хочется плакать; да, оплакать себя и упрямого мальчика, которому очень хотелось читать про матросов, очевидно, с годами я делаюсь сентиментален; я когда-то вернул эту рукопись молодому насмешливому человеку, я был умный, воспитанный старший редактор в отделе прозы уважаемого журнала, объяснив ему твёрдо и несколько свысока, что повесть не выстроена, не отделана, все излишества в ней от неловкости, от кокетливости и потому неприличны, литературе, молодой человек, нужно

долго, упорно учиться, молодой человек смотрел на меня, забавляясь, и вы знаете, что он сказал, забирая насмешливо повесть, которую он напечатал теперь, не изменив в ней ни слова, и мне хочется плакать над ней, он сказал мне: *не огорчайся...* моя маленькая и прелестная злока с удивительными и свежими серо-зелёными глазами не захотела стать героиней моей взволнованной рукописи и уйдет очень скоро со страниц моих беглых записок, мне нужно писать о другом, мне нужно писать про октябрь того несчастливого года, и тёмный ноябрь, и ночной телефонный звонок... моя девочка вольно ушла из романа и уйдёт, отвлечённо, пленительно, нежно зевнув, из воспоминаний, исчезнет, и о ней я больше не напишу ни слова. Мне нужно писать о другом. Мне хотелось бы почитать о ней, мне так хочется верить, что она станет героиней удивительного романа, презрительной, гордой, и я наконец прочитаю о ней, и пойму, разберусь в том, чего я не понял и в чём не разобрался той смятенной зимой и весной, и сумею, быть может, полюбить её окончательно и легко, как не любим мы никогда существующих рядом с нами и стремительно уходящих вдаль женщин, но как любим лишь бестелесных, размытых дымкой страниц и оттого ещё более прекрасных героинь любимых и грустных книг. Книг я больше не сочиняю. Мне нужно писать о другом; мальчик, герой легкой повести из сентябрьской книжки журнала, и Мальчик, который погиб, не сумев совладать с любовью, молодой человек, автор повести, ожидают меня... *господи! как написать мне про неё?!*

V

Женственность чувственная и загадочная, волнующая виделась мне в легших по ветру, захлестнувших лицо волосах, и в аккуратной, волосок к волоску, причёске с нежным прямым пробором, в золоте, красном, рубиновом блеске на ухоженных тонких пальцах, изнемогающая и погибая от невозможности постичь и приостановить, удержать нечто тонкое и тягучее, я наделял неизбывной чувственностью чисто внешние, грубые и легко уловимые черты, элегантную прелесть узкого женского пальто тончайшей и чёрной кожи, и волнуемую ветром длинную пляжную юбку, и вызывающее покачивание высокого каблука, так юные мальчики бесконечно влюбляются в тайну губной помады, высокого нежного подъема изящной туфельки, тайну блестящих чулок, и проглянувшей вдруг кружевной строчки белья... мне, к удовольствию моему, перестали нравиться женщины, приведённые мною на страницы романа, я любил затуманить мой текст и прилгнуть. Моя девочка была маленькой и привлекательной злокой с удивительными, зеленоватыми, серо-зелёными глазами. Её глаза, влажно блестящие, то сжато сумрачные, то распахнутые и большие, не имели устойчивой, постоянной окраски, кружки вокруг точных, очень внимательных зрачков были слиты из разноцветных блестящих зёрнышек, ярких жёлтых, тёмных зелёных, голубых, серых, синих, и от игры этой нежной мозаики глаза её в разных её настроениях светились неожиданно новым цветом; сердитые бледно-серые; злые бесцветные; свирепые тёмные; взбешённые жёлтые; дерзкие с зеленью и желтизной, наглые зелёно-рыжие; удивлённые, огромные светло-зелёные; серые твёрдые и упрямые; серые задумчивые; серые нежные; весёлые тёмно-серые; очень весёлые тёмно-зелёные; серые с голубым, когда, позабыв обо всем, она искренне радовалась; серо-синие, яркие, когда она начинала, дурачась, выдумывать и мечтать, вот *прекрасная пьеса*, говорила она, мечтательно и счастливо вздохнув, и глаза её, серые и задумчивые перед тем, начинали сиять синевой, она небрежно роняла пьесу, называвшуюся *Прогулочная Лодка*, истрёпанную нечистую рукопись, затёртый шестой экземпляр, *ах, какая прекрасная пьеса, красивая, тонкая, насквозь театральная, жаль, в ближайшее время её ставить не станут, к таким пьесам нужно привыкнуть, впрочем, и ни к чему, сейчас её только испортят, а поставят её... лет через десять, мне будет тогда – тридцать два? героине в пьесе двадцать один, потом тридцать шесть... мне будет тридцать два года, я буду заслуженной, ошеломительно молодой, и сыграю её! на лучшей столичной сцене, и после премьеры выйду замуж, выйду в третий, последний раз, по*

безумной любви, на всю жизнь, за кого, вопрошал я лениво, за автора этой пьесы, не задумываясь, отвечала она, он мальчишка, он младше меня, не спорь! это видно из текста, ты бездарен и не представляешь, какая жуткая исповедь – талантливый текст, ты ведь глуп, благодарствую, говорил я с поклоном, а он – молод, он страшно юн и невероятно талантлив, и умеет любить как никто, я уже влюблена в него, я терпеливо и верно буду ждать его десять лет, говорила она, дурачась, нестерпимо сияя синью и мягкой зеленью восторженных глаз, он будет тогда знаменитый писатель, увидит меня на премьере и влюбится – навсегда, серьезно с ней разговаривать было уже невозможно, ну, а как поживает твой автор бессмертной Прогулочной Лодки, спрашивал я через несколько дней, ждёшь ли ты терпеливо и верно, фу, глупость какая, презрительно отвечала она, ты действительно, милый мой, неумён, я пытался прочесть эту пьесу, но, начав, скоро бросил, отчаянно заскучав, должен признаться, что я не умел и сейчас не умею читать пьесы, один вид драматического текста с ремарками наводит на меня тоску, имени автора пьесы я, к сожалению, не запомнил, сильный приступ мучительного, неодолимого желания овладевал ею вдруг, она молча тянулась ко мне, поднимая и быстро, смущённо пряча мягкие тёмно-серые, тёмно-зелёные, провинившиеся глаза, репетиция, утренняя пустая сцена, выставка в анфиладе дворца, снежный парк исчезали, домой и только домой, нежно, требовательно, в румянце, нетерпеливо покусывая смущённые, гордые и счастливые губы, укрывая лицо в прохладно щекочущий мех, чтобы не видел никто её глаз и улыбки, ради бога, скорее!.. непредставимым мучением для неё в такой вечер был вечерний спектакль, который нельзя было кинуть, который нужно было доиграть до конца, она целовала меня, изнывая, целовала меня в кулисе и, затуманенно улыбаясь, шла на сцену, в слепящий клубящийся свет, её голос, звонкий, наполненный, сильный, становился прельстительно нежным, он ластился, звучал мягко, чарующе, задевая скрытый в душевной темноте зал волнующе ласковой мукой, особенно хороша в свои гордые и счастливые, смущённые вечера была она, выходя на сцену Элизой, Таней, я и в ту пору не любил театр, пыльный бархат и грязный, затоптанный планшет, свет, устроенный из разноцветных пятен и застилающий сцену ярким туманом, в котором из темноты ближней ложи не разглядеть достоверно лёгких черт гримированного лица красивейшей из женщин, я прикрывал рукою глаза и погружался в прельстительный, играющий голос, я и шёлковые чулки нашла, ведь жалко такую ножку?.. ах, мы с сестрой жили в каком-то чаду, катания по Невскому в бархате, в соболях, рестораны, французский театр, маскарады, я вас предупрежда-ала, что сильная страсть может вспыхнуть во мне в любую минуту, я такая нервная, а вы сводили меня сума, целовали мои руки, незадолго до занавеса и поклонов я поднимался и выходил из ложи, шёл по красным ковровым дорожкам пустых коридоров, по холодному, скользкому паркету фойе, отражаясь в бесчисленных зеркалах и слыша, как звучит за высокими и украшенными позолотой дверями зала её голос, ах, не-ет, Мишель, мы ещё не решили, в переулке, лежащем в снегу и огнях фонарей, я садился в такси, подгонял машину к служебному входу и закуривал, и вот, наконец, над порожком в снегу ударяла на тяжёлой пружине остеклённая, с медными прутьями дверь, и выбегала она, в наброшенной наспех шубке, с сияющими глазами, на Фонтанку, пожалуйста, против Летнего сада, поблескивая в полутьме машины глазами, она целовала, кусала, смеялась, мои губы, летели ограды, мосты, ночной снег на деревьях, тёмной громадой Михайловский замок, фонари, победительная и смущённая проснувшейся необъяснимо, мучительной и счастливой женственностью, звон оброненных на площадке ключей, ночь за шторами, тёмный громадный Замок и чернеющий в снегу сад, свет торшера, шубку скинуть и шейный платок развязать, смеясь тёмно-серыми, тёмно-зелёными смутившимися глазами, и помедлить, и что-нибудь выпить, со льдом, поболтать, измучилась и устала, ну зачем я пошла в актрисы? ну, иди же, любовница она была злая, нетерпеливая, властная, и молящая, жалобная, неизъяснимо нежная, благодарная, и вновь злюка, безжалостная, победительная и сладко бесстыдная, с тёмными от наслаждения глазами, ласкалась, молила, кусалась, наслаждаясь жестоко своим великолепным, худеньким

гибким телом, своей неуголимостью, ласковостью и мольбой, ярость, требовательность, закусенные злые губы, наслаждающийся победительный стон, и хриплый, умоляющий, с остановившимися безумными глазами, крик!.. едва ли не плача... и бессильная, нежная вялость со слабой улыбкой, благодарностью в тёмных, полуприкрытых глазах, утомлённая женственность, длинные, вытянувшиеся утомлённые ножки, утомлённые маленькие опавшие груди, бессильные руки, уставший влажный живот, и шрамик над мокрым пахом, след давней внематочной беременности, вздохнув глубоко, она резко, недовольно переворачивалась на животик и подтаскивала, раскрывая, тяжёлую книгу в тёмном кожаном переплете, вертя зажигалку и показывая в зубах длинную сигарету, *отстань*, говорила она лениво сквозь зубы, *надоел*, с наслаждением затягиваясь сигаретой и опуская глаза на страницы желтоватого старинного глянца с шёлковой красной лентой-закладкой... я её ненавидел.

VI

Ненавидел, когда она с видимым удовольствием кривлялась на репетиции посреди неряшливой утренней сцены, ненавидел, когда она мелочно, зло торговалась с портнихой, чтобы после беспечно велеть мне заплатить, и они с портнихой расставались, воркуя, целуясь, как нежные сёстры, ненавидел, когда она деловито, с возбуждёнными серо-синими глазами рассматривала и изучала бельё, доставленное из Гамбурга, Гавра, и, выпроводив приятельницу торговку, подолгу, не замечая меня, красовалась, покачивала стройными бёдрами, рассматривая на себе то одни, то другие трусики...

VII

Господи! какой она была маленькой! маленькой, беззащитной и уязвимой; какой она была одинокой, как непросто ей было существовать, огрызаясь сердито во враждебном ей, больно кусающем мире, охраняя острыми зубками свою крохотную независимость, как тревожно нервничала она, тосковала, и на лбу её ложилась угрюмая морщинка; как ходила, ходила она в беспокойстве по комнате, не умея унять тревогу, как, отодвинув штору, глядела в залитое осенним дождём стекло, в дождливый туман, облетевшие парки, и, вздохнув тяжело, опускала штору, как перебирала невнимательно книги, раскрывала бесцельно, роняла с раздражённым, усталым вздохом, измученная беспокойством, *полно, жизнь ещё не вся*, напевала она, стараясь себя успокоить, напевала высоким и детским голоском, *полно, жизнь ещё не вся, вдалеке надежда светит, луч дрожит, во тьме скользя, трудно, мастер, жить на свете...* господи! какой она была маленькой! и как любил я её, наверное, она давно стала взрослой, оставшись ошеломительно молодой, стала взрослой, великолепной, блистательно равнодушной ко всякому сору, независимой и насмешливой женщиной... но в двадцать лет она была *невыносима*. Всеядность её в знакомствах утомляла меня, как зубная боль, любя живость, вихрение, благожелательность, я дружил с половиною города, но моя девочка в кругу всех этих литераторов, барменов, игроков, бильярдистов, яхтсменов, чиновников от искусства становилась ещё капризней и невыносимей, и она же могла, распахнув огромные, зелёные глаза, завязать увлечённый разговор с первым встречным, будь то сапожник в будке на Загородном проспекте или пьяный багровый тралмейстер, подсевший к нам в ресторанчике *Демьянова уха*, бормотавший трубно весь вечер *Фареры, Фареры* и показавший мне при прощании грубый пудовый кулак, *обидишь, убью*, манера её обращения с незнакомыми казалась мне вызывающей, столько было в ней дерзкой непочтительности и задора, но она умела, не желая того, очаровывать, заставляя любоваться собою, умела заставить рассказывать и умела совершенно замечательно слушать, не стесняясь перебивать, закричать звонко *глупости какие*, хирурга она бессовестно и жёстко спрашивала, спас бы он тяжело раненного на дуэли поэта, и я не успевал устыдиться её беспечности, обнаруживая, что о ране поэта не знал ничего, а разговор уже шёл о хирургии про-

шлого века, великий Пирогов, увечья Крымской войны, полевые госпитали, Флоренс Найтингейл, Лонгфелло, Буссенар, пуля *маузер*, русский трёхгранный штык, средневековые, травы, Салернский Кодекс, бальзам матушки д'Артаньяна, эликсир преподобного Гоше, история анестезии, шок, антибиотики, внутриполостные операции, много позже я понял, что при хорошей памяти, а память у неё была, как цепной капкан, каждый такой разговор стоит нескольких прочитанных книг, на моих глазах продолжала торжествовать великая и старинная школа образования посредством бесед, не любя мою девочку, я завидовал ей, завидовал втайне от самого себя, завидовал люто, я знал, что она умнее, сильнее, талантливее меня, в тысячу раз бесстрашнее, злее, и потому она сделает всё и добьется того, чего хочет, глядя изредка, как читает она, я испытывал утомляющую, неотчётливую неловкость, хотя что в той неловкости могло быть для меня неотчётливым? я был прост; *писатель*, я несложно гордился собой, и над чудесными книгами я скучал, не стыдась, у меня доставало беспечности судить вслух о спектакле, которого я не видел, и о модном романе, которого не читал, я не усматривал в том ничего неприличного, подозревая в себе умение ухватить суть такого романа, как *Мастер и Маргарита*, зная о нём с чужих слов, я спокойно произносил *Илиада*, *Божественная Комедия*, *Фауст*, *Федра*, не читав никогда этих текстов, в лучшем случае, полистав много вёсен назад ночью перед экзаменом, да, я мог повздыхать о красотах классического образования, забывая, что никто не мешает мне взять с полки Плутарха, Светония, Флавия и вместо *Забавной Библии* прочесть Ветхий Завет, но – неловко и не ко времени было, и лень... так я жил, удовлетворяясь лихим *представлением*, успокоительно заменявшим мне даже тень понимания чужого мне мира и неудобных, громоздких страстей; встреча с маленькой злокой была мне уроком, от которого я отмахнулся, и, глядя на груды книг, которых я не читал и, по совести говоря, читать не собирался, я испытывал недовольство, теперь-то я понимаю, что моя прелестная девочка интересна прежде всего была не собой, а теми людьми, которые занимались ею, воспитывали, непозволительно мало знал я о ней, её жизнь не касалась меня даже мягким, тревожно быстрым концом крыла, книги, рукописи, собрания сочинений, академические труды, мемуары, тяжёлые томы минувшего столетия, беспрестанно сменяемые, загромождали маленькую квартиру с окнами на Фонтанку и Мойку, кто жил в этой квартире и кто приносил эти книги, я не знал и уже не узнаю никогда, книги, рукописи... пустое, говорил я себе, смеясь, я был весел, изведав уже вкус элитарности, избранности, я так свято верил в свое легкокрылое и заманчивое завтра, что мне вовсе не требовалось усилий отмахнуться от смутного недовольства собой, у меня было давнее и испытанное утешение, много ли беды в том, что я не прочту какую-то пьесу, если моё назначение просто *писать*, если я через год напишу вдруг книгу удивительной силы и красоты, и я верил, что напишу эту книгу, и на задумчивую, сердитую мою девочку я поглядывал снисходительно, с высоты ненаписанных мною книг, и безделье моё, мотовство мне нравилось видеть как временный отдых после долгих, почти монастырских трудов, я устал, мне мешала усталость, по причине которой я всё чаще почерпывал силы в вине, я был весел, мои тридцать лет мне нравилось чувствовать как стремительный и удачный разбег, сердитая моя девочка была ещё маленькой, она не умела определиться в себе, в чём-то главном, значительном, и раздражалась, когда что-либо в ней или рядом с нею происходило не так, как хотелось бы ей, моя девочка была злокой, потому что стояла ещё на распутье, не умея выбрать единственное, мои же дела...

Упаси вас бог иметь в любовницах актрису!

VIII

Увы; мои дела были много хуже.

И с каким же невероятным, глухим облегчением я уходил, поцеловав мою маленькую прелестницу на ночном, заметённом нежным снегом перроне, уходил от возбуждённого, празд-

ничного Московского вокзала, от сиреневых, белых его светильников; ночной Лиговкой, ночной тихой Пушкинской улицей, Свечным переулком, Большою Московской, Разъезжей, в ночном мягком снегу, под громадной и чёрной декабрьской ночью шёл я к Пяти Углам, к очень высокому, петербургскому, времён модерн, дому, что выходит гранитной острой грудью на маленькую площадь, где домишки ещё помнят Дельвига, и в том доме, за тёмными шторами, вознесённая в ночи над снежными крышами темнеющих вдоль Фонтанки кварталов, спала, устав меня ждать, моя юная, гордая жена. Моя жена была тонкой красавицей, двадцати четырёх лет, и утрами, лёжа в постели, я любил глядеть на её туалет, туалет юной женщины, на её узкую, ласковую спину, груди, видные мне в тумане зеркала, её чудесные тёмные волосы, что великолепно укладывались уверенными движениями щётки в серебряной оправе, глядеть, как она одевается, легко переступая по ковру на высоких каблуках, и ноги её, высокие, в прозрачных чулках, обнажённые бёдра, груди, слабо прикрытые кружевом, от жены моей и от маленькой прелестницы я в ту пору узнал, сколь значительно, важно бельё в жизни женщины и что по повадке, походке, движению женщины, встреченной в городе, можно увидеть, удачно ли нынче бельё на ней, хороша ли она в нём наедине с зеркалом и горда ли... и часто туалет моей нежной, прелестной жены оканчивался тем, что я утаскивал её, гибкую, возмущённую и смеющуюся, в постель, и помрачался в её ласках, в её лёгких, нежных и властных руках, в её смехе, смешливости, угасавших по мере того, как росла, накатывала горячая жадность, изумительнейшей любовницей была моя жена, изощрённой и чувственной... и тонкое бледное лицо мига отдохновения, мига восстановления одиночества, отчуждения, всплытия к свету осеннего утра, духам, тонким чулкам, к необходимости уходить на длинных, лакированных каблуках к зеркалам, чужим мне делам, неизвестным, таинственным, из которых она вдруг пришла, из ночных осенних туманов; поздним вечером, в гостях, в синем табачном дыму, шуме, в глубине длинной комнаты с устаревшей, тяжёлой петербургской роскошью, над искрами хрусталя, красочной щедростью праздничного стола, нечаянно вскинув глаза, я увидел *лицо*; увидел, не поняв ещё, что возникшая в шуме праздника женщина: красавица, изумительной, тонкой и чистой красоты, тёмная глубь внимательных глаз, улыбка на лёгких губах, вот она улыбнулась, задумалась, улыбнулась вновь, возразила движением глаз, умных, улыбнулась и пригубила вино, и вино было вкусно, с взволнованной, всё возрастающей нежностью, видел только её, не чувствующую тёмной тяжести своего очарования, мучительно далекая, затуманенная ярким светом, шумом, музыкой, её голоса я не мог различить, говорила чуть насмешливо, с удовольствием видимым ела, запивая токайским вином, улыбаясь внимательно разговору, её легкие руки, я бы умер за одно дозволение поцеловать их, глядя, как окропляет она душистое мясо каплями лимонного сока, удлиненные нежные ногти, и, отложив выжатый ломтик лимона, вытирает кончики пальцев салфеткой, пригубливает вино, вечер шумный, хмельной, с томительной и колдующей музыкой, всё это к ней не притрагивалось, точно происходило за чёрной пустыней ночной Невы, и она была в уютной, старинной комнате единственной гостьей, они с тёмно-рыжей хозяйкой точно сумерничали вдвоём, насмешничали над чем-то, одним им известным; трезвея от мёртвой, любовной тоски, я видел её улыбку, движение укрытых ресницами глаз, и, вместе с душащей, мучительной нежностью к ней, испытывал острую, неприязненную зависть к хозяйке, зависть была тем неприязненнее, что сам я хозяйки почти не знал, очутившись в весёлом застолье случайно, к полуночи я бесконечно был одинок, измучен мёртвой влюблённостью, вы позволите, подошёл, умирая от волнения, я, когда стол отодвинули и принесли кофе, вы позволите пригласить вас, кружилась пластинка, поздняя осень шестьдесят седьмого года, мелодия из *Шербурских зонтиков*, Легран; мелодия, что в ту осень умирала в груди тревожаще долго, и хотелось, чтобы она не оканчивалась, нет, спокойно сказала она, подняв на меня внимательный и в то же время безразличный взгляд, я уже ухожу, я зашла на минутку, и она вежливо улыбнулась, вот юноша тебя и проводит, тотчас распорядилась хозяйка, крепкогрудая, крашенно-рыжая, которую я в тот миг возлюбил, как возлико-

вал, он бывший десантник, плечист и неплох собой, совершенный рыцарь, без страха и малейших сомнений, и влюблён в тебя до отчаяния, проводите её, к Пяти Углам, не пугайтесь, она, хоть красива, не очень жестока, а зовут её: *Натали*; и едва прозвучало её имя, точно завеса разодралась предо мною сверху донизу: я всю жизнь ждал эту женщину; *простите*, спросил осторожно я, когда, спустившись овальной и плавной, мраморной петербургской лестницей, мы вышли в осенний ночной туман, *вы хорошо помните рассказ Бунина Натали*, да, кивнула она, улыбнувшись, *я люблю ту историю*, и я чувствовал, что улыбка относилась более к удовольствию свежего, осенью пахнувшего тумана, *какого же цвета у неё были волосы*, Натали на секунду задумалась, приподняв в задумчивости голову, тонкий, изумительный профиль, и засмеялась, вспомнив: *рыжие. Золотые!.. а ведь кажется, вечно: тёмные*, проговорил я, робея, *тёмные, как у вас, мне всегда героиня рисовалась и виделась... воплощение её: Вы! до мельчайшей чёрточки в вашем лице, до умения так вот задумываться, до движения глаз и ресниц*, она засмеялась, снисходительно, плыл холодный туман, темнота клубилась вокруг огней, праздник был прожит городом, и догадка, впервые, что женщины воспринимают известный мне литературный текст иначе, огорчила меня, текли осень, ночь, тёмные реки, и туман, дух таинственной бунинской Натали, дух таинственной, идущей рядом со мной женщины и влекущей, загадочной мелодии Мишеля Леграна, что звучала в груди в такт шагам, мы рассмеялись, когда начали вдруг напевать её в одно время и с одинаковой цифры... в чистейшем безумии исчезли дальнейшие ночи и осенние дни, в чистейшем безумии, и кончилось всё ночным снегом, ночным блеском мехов, и тихим её, глуховатым: *поднимаемся. Ко мне*, её жадность, горячая чувственность, изощрённость упоили, пленили, покорили меня тем сильнее, что на нежных, насытившихся её бёдрах я увидел нежную кровь, *очень просто*, сказала она, усмехнувшись, *до тебя я ни с кем не любила*, падал медленно снег меж горящих в ночи фонарей, и зима вся исчезла в напеве Мишеля Леграна, и очнулись мы только в марте, сухом, звонком, и повсюду звучал Легран, иной, фильм *Мужчина и Женщина*, из зелёных закатов кинотеатров, из весенних холодных пляжей Довиля мы выходили в весну и закаты Петроградской стороны, холод песчаных откосов Невки, гранитов тёмной вечерней Фонтанки, кружение счастья было в мелодии, кружение вечной счастливой любви, в марте мы *зарегистрировали брак*, ей шёл двадцать третий год, мне исполнилось тридцать, лето мы провели на юге, у моря, у друзей была яхта, акваланги, и всё лето положено было на музыку, пропитано было музыкою Нино Рота из *Искателей Приключений*, безмятежностью и красотой этой музыки, и все дни шли, точно в красивом кино, вероятно, такими уж были те времена, когда непроверенность наших желаний искала, на что опереться, и я помню, у незадачливого поэта тех времён, иронические три строчки: *...абазур из плюша, и если здесь придётся переспать, то будет всё, как в фильме у Лелюша*, поглощён же я был другим: неожиданно мне открывшейся чувственностью семейной жизни, о чём прежде я не задумывался, жениться не намереваясь, чувственностью южных ночей, южных дней с изумительной, покоряющей в любви женщиной, я был увлечён, и видел лишь: узкую загорелую спину, намокшие волосы, капли воды на загорелых тонких плечах женщины, поднимающейся из воды на яхту; и чувственность заслонила мне всё; как юные мальчики видят грядущую семейную жизнь? да, признаться, никак, хотя многие мечтают о ней, и, женившись, все изобретают её по-своему, в то лето упоения южным морем, любовью, в музыке Нино Рота моя чувственность приобрела законченность формы и отношения, и с ней устоялась законченность непроницаемости, недоговорённости, за которыми навсегда загадкой для меня осталась моя юная, гордая красавица жена, опьянение музыкой принадлежит, как теперь начинаю я исподволь понимать, к тому роду удовольствий, что и опьянение проистечением перемен, и когда перемены воплощаются в новую данность, изменчивую, но приобретающую для непосвящённых вид законченности, то непосвящённые, вроде меня, начинают томиться законченностью как пустотой, то же случилось со мной, когда мы возвратились с юга на дождливые Пять Углов, и жена моя, точно фея, исчезла в чёрной чаще чужих, неизвестных мне

дел, искусств, бесконечно тоскуя, бродил я осенней, причем предполагалось, что я сочиняю роман, Фонтанкой, попивал с случайными встречаемыми вино, оставляющее мрачный привкус, водку в темноватых подвальчиках, у мокрых прилавков, и как-то в сумерках, в час приближения угрюмого осеннего вечера, зайдя от тоски и ненужного дела в ненужный мне институт, услышал глухой звон мяча, гневный, матчевый крик, и вошёл в физкультурный зал, и увидел рассерженную прелестную девочку; но об этом я, кажется, уже говорил; и я стал исчезать, возвращаясь весёлым и любящим, тоскующим втайне от непостижимости преграды между мной и красавицей моей юной женой, жена, кажется, не замечала моих исчезновений, я гордился ею, доверие было достойно, аристократично, и крайне удобно, гордясь, я был искренен, ведь с каким облегчением, поцеловав маленькую злюку, я возвращался ночью, в мягких снегах, к дому, вознесённому в ночи над маленькой площадью.

Вставало утро, освещая бледным светом приют моей прихотливой лени, постель, ковёр, резной письменный стол, украшенный бронзой и всем тем, что для писания книг совершенно ненужно, пишущие машинки *Эрика*, *Оптимы*, *Колибри*, в ту пору у меня водились деньги, золотые перья, *Паркер*, в дубовом стаканчике, отточенные карандаши в бронзовом, стопка финской бумаги верже, всё приготовлено было к письму, всем думалось, что я примусь писать вот-вот, и мне кажется до сих пор, что в ту осень, и прозрачную, и хмурую, я готов был присесть к столу и записать удивительную книгу, что уже зрела и завершалась во мне, я записал бы её, взволнованный тонкой влюблённостью, записал бы единым духом, в тринадцать дней, я непременно бы принялся за неё синим, солнечным, ледяным утром 22 октября, наутро после премьеры: если б не Мальчик. Вошёл гадкий Мальчик; и разбил мою жизнь.

Лютая, смертная скука овладевала мной, когда я даже мельком взглядывал на весь этот парад машинок и золотых перьев, и, вернувшись домой, я начинал томиться одиночеством, письменный стол наводил скуку, граничащую с отвращением, бронза, машинки *Колибри*, *Консул*, *Эрика*, электрическая *Оптимы*, впоследствии я их распродал потихоньку и тем жил, сочинения и собрания сочинений, прекраснейшие словари ушли тихо на чёрный рынок, и я был благодарен лихим временам достатка, резной письменный стол, чернильница с бронзовым орлом, письма, на которые я из лени не отвечал, поздравления, глянцевые пригласительные билеты... и неудержимо тянуло меня к телефону, звонить, всем подряд, звонить девочкам, веселить, забавлять их, и нравиться, и покорять...

И покорять.

Глуп был, батюшка. Глуп! Мне было в ту пору...

IX

– Ты где? – ...моей маленькой злюки не было рядом со мной. Простывший давно её край постели, сумрачный свет разбудили меня. Шторы, висевшие тяжело, как занавес в театре, были раздвинуты. Завернувшись в малиновый, тёмный плед, подняв озябшие плечики, моя девочка молча, нахмурившись, стояла у серого утреннего окна. – ...ты что?

– Тс-сс, – осторожно проговорила она. – Слышишь: трубы трубят... и звенят. – Ещё не проснувшись отчётливо, я добросовестно прислушался... зябкое серое утро начала мая; час удручающе безжизненной тишины; и за Фонтанкой – чёрные, ещё не распустившие листья, деревья Летнего сада.

– ...Костры догорают. Майский робкий рассвет опускается в чёрный лес. Костры тлеют. И вот, издали: первый протяжный звон, как солнца несмелый, холодный луч. И другая труба, уверенней. Трубы звенят, поднимают уставшую, избыточную, *победившую* гвардию.

– Какие костры?... – заворчал недовольно я; и проснулся. Моя девочка, маленькая прелестница, стояла у раздвинутых штор, завернувшись небрежно в малиновый, почти чёрный в

утреннем освещении, плед; плед был слишком велик для неё; длинный его конец, в чёрных складках, лежал на паркете, как шлейф.

Величественно выгнув спинку, с обнажёнными плечиками, померещилась мне: в вечернем бархатном платье, из роли; чего не почудится в угрюмом весеннем рассвете, *Брюс-колдун-чернокнижник*, жутковато, загадочно прозвучало от штор, в осторожном её голосе звучало удовольствие; и я узнал тот её голос, каким она говорила, начиная выдумывать и мечтать: — ...*колдун-чернокнижник-внук-королей-шотландских с православным-государем-антихристом силой русско-калмыцкого-войска-под-византийским-лицом-Христа избил в финской земле лютеран-нечестивцев-шведов*, четыре у Брюса пехотных, на прусский манер, гвардейских полка, худой кавалерийский, и тьма конницы, злейшей в Европе: калмыки, башкирцы, татары, запорожские казаки, ночь легла после битвы, утрет, костры догорают, туман, мокро и холодно, возле тёмных кустов кони из речки пьют, и речка ещё без имени, звучит быстро татарская речь, и с другого берега: *Га?..* жили люди, лютой завистью завидно, великолепные, крепкие, и о дне грядущем не задумывались ни на грош; и уже гукает, гукает с дальнего берега Невы, за полверсты серой воды: сваи на остро ву бьют, сотен десять татар каторжных, сотен семь пленных каторжных шведов; прислушаться: музыка на том берегу, пушечная пальба; видишь: над хмурой водою хоругви горят золотом, и горстка людей: сняв шляпы, поют; день святых первоапостолов Петра и Павла, закладка Крепости, государевы имянины, молебен, водосвятие с пальбою из пушек, пьянство всю светлую ночь, факелы, чёрный пушечный дым на ветру; мёртвое пьянство, потому как попойка государственного значения... несчастный царевич. Государь ускакал, кинул всё на него, и Нева уже в августе явила свой гнев двумя чёрными наводнениями, и первые жертвы, мученики Города, не приняв успокоения, вынесены из худых могил. К зиме выкопали землянки, и начали жить, на Руси это просто; каторжные, пленные, гвардия, запорожцы, калмыки, стрельцы, высланные из Москвы за бунт... бедный царевич. Гибель, гибель в антихристовом Городе, гибель в очи глядит, всё пророчит царевичу гибель, и Городу запустение, быть зловещему Городу пусту; виновен во всём Брюс-колдун-чернокнижник! и гвардейские трубы на закате поют... красиво; есть в военной государевой службе такая тоска и такая, последняя, безнадёжность, что становится служба *красива*. Восхитительное здесь место, волшебный фонарь, нужно в полночь раздвинуть тихонечко шторы, и глядеть, я здесь часто играю, играю ночь напролет... (моя маленькая прелестница говорила уже не для меня, увлечённо, задумываясь мимолетно, точно пробуя, проверяя слова на вкус, на тяжесть; и нужен ли был ей слушатель? возможно: лишь как опора летящему звуку внимательной речи; часто, забыв про меня, говорила и говорила она с собой, повторяя, точно к чему-то примеривая, на много ладов, музыкальных тонов фразу из роли, и не из роли, какую-нибудь несусразицу: *Мальчик! столкни лодку. Мальчик, столкни лодку!..* и тому подобную глупость). — ...Вон (она засмеялась, и голос её заискрился удовольствием) прогуливается Екатерина, смешная, маленькая, *великая*; деловитая и прелестная; спешит в угол Невы и Лебяжьей канавки, к Бецкому, и после обеда он будет читать ей вслух Стерна; впрочем, екатерининский век не люблю; а чуть дальше, за Красным каналом и прудом Па-де-Кале, на рассвете роскошного летнего дня мой любимец Лесток, безмятежный, счастливый, уставший, возвращается со свидания... вон, на деревянном мосту, Пётр дубинкой лупит генерал-полицмейстера Дивиера, терпеть не могу Дивиера; врут, поди, что юнгой служил на португальском фрегате: юнгов драли линьками, у юнгов шкура дублёная на всю жизнь; а Дивиер, после семи кнутов, многих невинных, людей замечательных, оговорил в государственной измене... и Ивана Бутурлина! *гнида*. Зря его оз Охотского края вернули и чины возвратили; я его там сгноила бы. Елизавета *непостижима*. А Лесток (улыбнулась она) мой любимец; Миних любимец; все солдаты любили Миниха, *ясным соколом* звали; Лестоку за шестьдесят было, когда на пытку огнем взошёл: и ни слова; молчал; одиннадцать дней голодовки: по-моему, *первый* заключённый в Империи, выразивший всё презрение к палачам голодом, готовностью к смерти; укрепляли его в презрении любовь к женщине и презрение к жен-

щине; *такую* измену, неверие, низость он *той женщине* извинить не мог; его в голодовке пытали; на Руси это просто; и он, после пытки огнём и железом, сброшенный с дыбы, поднимался, и в каземат сам уходил; палачи, профессионалы, и те изумлялись... огонь в пытошных горнах; горны... горны трубят, пробуждают уставшую гвардию; Город вспоен и вскормлен под пение горнов и военный гром барабанов; вон, против волшебного моего фонаря: каре; стужа синим дымом дымится; гремят, неумолчно, от синего зимнего утра до чёрной вечерней тьмы барабаны гвардейских полков: умер государь Пётр Великий, и Бутурлин Иван привёл гвардию, чтобы защитить от злодеев и заговорщиков вдову и младшую дочь, грядущую императрицу; и если на цыпочки встать, то увидишь, вдали, как под гром барабанов катят с громадной барки на медных шарах Гром-камень, любимую гору Петра громогласного, жуткого, в драном зелёном мундире, провонявшего луком, водочным перегаром и табачищем, катят подножие вечное Петру бронзовому, надменному Всаднику в римской тоге; и вправо, на площади перед Двенадцатью Коллегиями, в малиновый, синий, зимний рассвет гремят барабаны. Каре! В чёрном сукне свежеструганый эшафот. Синий снег скрипит диким визгом. Ведут казнить Миниха. Высокий, в напудренном парике, ясно выбритый, стройный как мальчик, шестидесяти лет от роду, сорок пять лет в сражениях, в сером походном мундире, фельдмаршальском красном плаще. Миних казнию не смущён, дело военное, государственное, Миних весел, шутит с конвоем, солдат знает в лицо, господ офицеров всех поимённо, помнит по крымским, европейским походам, кровавым сражениям; специальных конвойных войск, в голубом жандармском сукне, в звоне ненужных им шпор, героев арестов и казней, завести ещё не догадались, ах, горделивый военный, гвардейский Город, горны, барабанные зори, и флейта, непременно флейта: ведь прямо лежит Царицын луг, поле Марса, бывший лагерь всей гвардии, а влево Коннетабльский плац, жестоко, и красочно, и несправедливо воспетый Бенуа, парады имперской гвардии, гремящая и полыхающая медь, и за Коннетабльским плацем, за Фонтанкою, в улочке, где булыжник и в подвальчике нэпманский ресторан, синяя вывеска *Гренада*, идёт шагом великолепный эскадрон, звон, гром, цокот подков, кавалеристы в скрипучих сёдлах, загорелые, крепкие, и пашки в ножнах, обшитых кожей, окованных медью, качаются возле стремени тяжело; кони шестивершковые! рыжие! гм... (тут она на мгновение задумалась) иногда, впрочем, мне представляется, что все кони гнедые, как Баркалдайн; льётся солнце первых дней осени в Петрограде, и оркестр в голове колонны, сияя медью, гремит: *...яблочко!*.. идут: в музыке оркестра и высокомерном звоне подков: победители. Из ресторанчика поднимается молодой человек... впрочем, что о нём; он поэт крошечный; из чудесного моего окна в Летний сад, лишь раздвинуть ночные шторы, возможно видеть Поэтов: *угол Марсова поля. Дом, построенный братьями Адамины. В него будет прямое попадание авиабомбы в 1942 году. Горит высокий костёр. Колокольный звон Спаса на Крови...* я проверила: Анна Андреевна ошиблась, две тяжёлые бомбы разрушили дом в ноябре сорок первого, двадцать шестого числа; метил немецкий штурман в зенитную батарею на Марсовом поле, Поле Жертв Революции... но вот дом Адамины ещё не разрушен, ещё даже не перестроен, первый этаж украшен гостинодворскими арками, под аркадой живут ещё лавки, крепко запертые на ночь, и поздней осенней ночью, осенняя темень и дождь, из подвала *Бродячей Собаки* поднимаются по ступенькам те, о ком ещё не дописаны многие великолепные, тяжёлые книги, Анна Андреевна глядела на всё почти с той же точки, что и я, чуть дальше, в изгибе Фонтанки: *Фонтанный Дом, к автору, вместо того, кого ждали, приходят тени из тринадцатого года, под видом ряженых*, начинается вечная петербургская тема призраков, как я люблю её, эту поэму, люблю, даже не стыдно сказать, даже больше *Онегина*, она очень моя, очень женственная, молитвенная, ведь женщина всю жизнь есть молитва и ничего более, мне всю её объяснили, ту поэму, *пахнет духами, и драгунский корнет со стихами и бессмысленной смертью в груди...* он мгновенье последнее тратит, чтобы славить тебя, гляди... сколько гибелей шло к поэту, глупый мальчик: он выбрал эту... (словно споткнувшись, она медленно и осторожно повторила) *глупый мальчик: он выбрал эту*, в самом деле гусар, не

драгун, очень юный поэт, *Пьеро*, застрелился из-за *Коломбины*, петербургской куклы, актёрки, вновь призраки, его звали Всеволод Князев, он был в дальнем родстве с Еленой, *глупый мальчик*... (встрянула решительно головой, отчего разлетелись прелестные светлые волосы), ах, какие здесь бродят поэты! гуляют, влюбляются, кофе пьют; в кофейне Растрелли, выстроенной на месте чудесного грота Маттарнови, но её все равно, по инерции, глупые литераторы именовать будут гротом, пьёт свой утренний кофий гениальный, ещё, поэт, он всем сообщил, в стихах, где именно пьёт он утренний кофий, и указал свой адрес, в двух шагах от Летнего сада, в Надеждинской, где объявлена очень дешёвая распродажа: корона бессмертия за человеческое слово; и никто не пришёл; потому что никто не поверил; и зря; и корона бессмертия иронически досталась рыжей кукле с фарфоровыми цветными глазами, умевшей глумиться и уничтожать рукописи поэта, и поэт обречён вечно пить в одиночестве утренний кофий под сентябрьскими мягкими кленами, а мимо него идёт в октябрьских сумерках удивительнейший молодой человек, все они до безумия молоды, несчастливый, всеми покинутый, влюблённый отравленно, горестно, молодой человек, ухитрившийся вновь после Пушкина выманить вниз с Гром-горы сияющего в темноте фосфорического зелёного Всадника, увести его в ночной, смрадом дышащий Город: вершить судьбу маленького человечка; в итоге: *безумие*; заурядное маленькое петербургское безумие, по которому, как по канве, вышиты все фантастические истории Санкт-Петербурга... а пьющий утренний кофий уже видит конец петербургским сказкам, уже не Всадник, чьей волей роковой под морем город основался, гонит, гневом возгорая, с тяжёлым топотом, безумца, уже Толпа Безумных гонит с гиканьем по ночной петербургской набережной Медного Истукана, сгорающего от стыда и тоски, *и никто не поймёт тоски Петра, узника, закопанного в собственном городе*... как это счастливо найдено: узник в собственном Городе; наверное, Всадника, раз сведённого Пушкиным на булыжную петербургскую мостовую, много проще свести со скалы в другой, третий раз, а увидеть, постичь *конец* ночным его приключениям много труднее... между тем, проходящий мимо дрожит от гнева, только что, на углу Итальянской и Караванной, в диком, траурном освещении вечерней зари встретил врага: и жест неузнавания, гадкий изгиб оскорбительных губ пережил, как удар хлыста по лицу; и идёт Летним садом к Гагаринской набережной, чтобы увидеть... какой на дворе у нас год? шестьдесят девятый? так вот: через одиннадцать лет, непременно через одиннадцать, осенью, по набережной Фонтанки, против Летнего сада, будет гулять юный автор романа, ища дом, где меня поселить, изумительного романа, где героинею, смутно и зорко, прочерчена буду я, и, увидев его, я расплачусь, смешно, и скажу ему: *Господи! мальчик, где ж ты был прежде? я так без тебя исстрадалась*... меж тем Андрей Белый идёт на Гагаринскую, чтобы увидеть дом, где поселит он Аблеухова, и отца его, и Анненков Летним садом идёт на Гагаринскую увидеть дом, где жил Пушкин, Кузмин, как темная тень, идёт Летним садом, вечерним и летним, все на ту же Гагаринскую набережную, увидеть дом, где поселит он Калиостро, меж тем Белому для романа нужен дом жёлтый, с орнаментом, где из зеркальных ледяных окон будет глядеть на осеннюю Неву и луч пурпурного заката сочинённая им безвольная, гадкая, лягушечья маска: воплощение, навечно, его врага, того, с кем любили они одну лгунью, а Анна Андреевна, живущая ещё на Гагаринской, Анна Андреевна, что грезит Пушкиным, думает о Петре, и именует Неву пронзительно-жутко *Летой*, юная, взволнованная и глубокая, несчастная, нежная, очаровательная: любит того, чей фас: безвольная, гадкая, лягушечья маска; и чей профиль в воспоминаниях влюбчивых назвала мефистофельски твердым, *ах какие таятся чары в этом страшном, дымном лице, плоть, почти что ставшая духом, и античный локон над ухом*... Мефистофель её не почтил, оскорбительно не заметив в ней женщины, и из двух сочинительниц темнеющих бездной стихов предпочтение отдал, словно поклон, колдунье московской, и все, все они Пушкиным бредят, таинственностью Санкт-Петербурга, и все подступают к главной Тайне; мечтаю о пьесе; мечтаю о восхитительной пьесе, где в Летнем саду под моими шторами сведу всех, кого я люблю, и кого уж поистине не люблю, *Всё в Летнем Саду*,

где Гоголь встретится с Калиостро; мечтаю о ней ночами, гадаю, выглядываю, что там, под темными липами; ничего фантастического в моей пьесе, неизменно прав юнкер, впоследствии недорасстрелянный поручик, юнкер, что ночами приходит ко мне в Летний сад, утверждая, что нет в мире ничего фантастичней российской действительности, и чем ближе к реальности, тем фантастичней, Летний сад весь томится Пушкиным, и вот, стоит смежить ресницы: идёт Александр Сергеевич; смущён; потому что навстречу: Гнедич... а быть может, роман *Летний Сад*? я неточно ещё понимаю: вся короткая проза, коли она хороша, непременно жестока; вся великая, по размеру, проза, если она хороша, непременно добра, ну а пьеса, коли она хороша, непременно трагична и очень смешна; Гнедич фат; Гнедич был бы фат, если б не был величествен; был бы фат, если б не был гений; *и прежде гроба я, от всех уже забвенный, засыплюсь холодной, неизвестной рукой*; в лицо ему глядеть трудно; изуродован почти так же, что и маркиза де Мертейль, и не потому ли изыскан безжалостно; течёт летнее утро, и Гнедич в коричневом фраке, крахмальном жабо, бельё, как всегда, слепит блеском снега; к полудню, сменив бельё, выйдет в синем фраке, и лишь вечером в чёрном; Пушкин в чёрном с утра, что неприлично; Пушкин недаром смущён: ночью он записал *Крив был Гнедич поэт...* и, ужаснувшись, зачеркал: чтоб загладить вину, записал: *Слышу умолкнувший звук... чую смущённой душой*, и смущён: вдруг Гнедич, единственным глазом: пронизет? увидит? Гнедича он робел; Александр Сергеевич многих робел: Гнедича, Александр Христофоровича, и ещё... и ещё Александр Сергеевич робеет Петра; уже написал, забросил, напечатал кусочки *Арана*, Александр Сергеевич летним полднем мечтает писать *Петра*, Дмитрий Сергеевич, идущий в метели навстречу, уже пишет *Петра*, идёт, маленький, длиннородый, в тяжёлой медвежьей шубе, и бледное лицо с огромными, остановившимися, пронизывающими глазами: идёт, точно в иных временах, по охваченным метелью, пургой аллеям Летнего сада, в полдень, как грянет в Крепости за Невою пушка, откладывает на чернильницу перо, хоть и в середине фразы, и идёт гулять в Летний сад, уже он издал с великим трудом *Юлиана*, издал *Леонардо*, где возлюбленную воспел в Цецилии, её огненный, дивный цвет рыжих волос, зелень глаз, глубоких, как вечерние воды горных озёр, и пишет *Петра*, видит в синей пурге летний, жаркий и душный, как лишь в Санкт-Петербурге, на обильной воде бывает, душный июльский день, когда на дебаркадер у Летнего сада, вертограда государева, выгружают привезённую из Италии мраморную Венеру: Афродиту Небесную, Пенорождённую, и Пётр, в порыве восторга, крепко целует Венеру в мраморные, ледяные уста... я (вздохнула горько она) ничего не придумываю, к сожалению, я хотела бы всё придумать, и гордилась бы тем всю жизнь, но, увы, не умею, лишь учусь что-то видеть, многие-многие до меня глядели в Летний божественный сад изумлённо распахнутыми глазами, и видели много красочней, и точней, вот чудесный, божественный замысел: всю триаду романов построить на мраморной, ледяной Венере, у её ног молился мальчиком Юлиан, и дана была ему звезда утренняя, что так мучила Пушкина, мучила русскую литературу, гениальнейший Леонардо мучился непостижимостью мраморной Пенорождённой, Пётр, казалось ему в его царственной, злой уверенности, постиг, и Дмитрий Сергеевич пишет *Петра...* и пишет его очень плохо; худо; величие и торжественность мысли, грандиозность, громадность замысла, имеющего задачей ответить на все существующие в мире недоумения, и... как бы это сказать! – *необоротливость* тяжеловесных символов очень мешают ему сочинять роман: ведь роман, он как жизнь, даже хуже, текучее, что ли, мимолётней и поворотливей, изощрённей; тут как в тире: повернулись фигуры: стреляй! только Пушкин и Достоевский понимали всю эту текучесть; что до Дмитрия же Сергеевича... не романист; гениальнейший замысел, мраморная Венера; а Венера была (засмеялась вдруг девочка) с руками; ей-богу; руки восстановил ей Легри, их отъяли, сочтя неудачными, уже перед Крымской войной, когда переместили Венеру, повелением государя Николая Павловича, в Эрмитаж, полтора века просуществовала Венера в России с руками, правой, стыдливо, прикрывала девичьи груди; выходящая из воды; и левою пах; не верит никто, но мы одного с нею роста, метр шестьдесят семь, Дмитрий Серге-

евич считал, что её изваял Пракситель; красивая женщина; хотя я, по совести, *лучше*, история, как купили, добыли, украли её для России, для Петербурга: чистый роман, ах, как хочется, чтобы его написали, хочу! мечтаю прочесть: и как нашли её, и как купили, и как Фальконерри её арестовал, и как Беклемишев и Рогузинский пали в ножки папе Клименту Девятому, как кардиналы Либони и Оттобани ввязались в интригу; и чтоб жил в том романе, звонил в колокола древних храмов, на голове ходил живой, гоголевский Рим, чтоб предстал Ватикан, величественный, в богоравной торжественности соборов, витиеватость интриг, клеветы, подкупа и доносов, красное сукно мантий, красный лак кардинальских карет, проносящихся с грохотом под колоннами Рима Цезарей; и в соседних главах: наследник Империи Цезарей, деревянный и недорубленный, разбросанный кое-как по болотам, в диких лесах по берегам великой реки Санкт-Петербург, город, чьё величие лишь в величии водных просторов и в величии беззастенчиво дерзких замыслов, чьё величие, расчётливо задуманное, должно грянуть через полвека, через век; именно этому Санкт-Петербургу нужна, жизненно, мраморная Венера, гордость римской Империи лучших времён: роман, где воспрянет, в крови и плоти, чудесный восемнадцатый век и переплетутся европейские, ватиканские тайны, золото, авантюризм, дипломатия, войны, религии, и где развязка, когда папа Климент дарит статую Пенорождённой богини государю Петру, тонкий знак признательности за покровительство государя Петра ордену иезуитов, развязка грозит стать завязкой несбывшегося: пробил час, когда у России, ещё не Империи, впервые за тысячу лет, и на тысячу лет вперед, были лучшие отношения с Римом, патриаршество, под кандальным гнётом, клонилось к низложению, государь Пётр Алексеевич мог подружиться с католической церковью: золотая мечта Чаадаева! жаль, что Дмитрий Сергеевич про всё это не написал ни строки; роман римский и Санкт-петербургский хочу видеть в торжестве живого, напряжённого, лукавого, хватающего капканом языка, неизвестно, изъяснялись ли при Василии Тёмном тёмными историческими словесами, писанный лист не свидетельство, хороши будем мы, если, волею романистов, веков через семь говорить будем нынешней речью инструкций и монографий; новгородские берестяные грамотки писаны нашим слогом, живо и твёрдо, а указы во все времена на Руси никто, кроме дьяков, не разумел; хочу ночью читать римский, Санкт-петербургский роман: как Рогузинский и Беклемишев, после очередной неудачи у кардиналов, вспомнили матушку Московию, надрррались, по-русски, в дым, и, в кои-то веки, отвели уставшую душу, обложив душевно и папу Климента, и кардиналов, и богиню Венус, коей не руки приделывать, а ноги ей, бляди, пообломать, и государя Петра, всё, как на Руси полагается, с припадочными его затеями, и Россию, дурную, нечёсаную страну, где только головы умеют ловко рубить, а денег четвёртый месяц ни хрена не шлют, и Италию, чтоб пусто ей, лимонных рош далекий аромат!.. может быть... (здесь, понизив смущённый голос, осторожно как-то и робко она глянула на меня) может быть, потому ещё не получается у Дмитрия Сергеевича рукопись о Петре, что не нужно перо на чернильницу класть, как жажнет пушка? может быть, перо нужно по выстрелу пушки брать, а кидать уж когда Бог дозволит? мне вот кажется, если писать, то писать совершенно запоем, без меры, как водку пьют?.. летним днем Пушкин думает о Петре, а Дмитрий Сергеевич уже Петра пишет, и думает о *Декабристах*, им бы впору тут встретиться, пока рукопись о Декабристах не арестовали жандармы, повстречаться возле грота, где красовались прежде мраморная Венера и, при ней, часовой гвардеец с ружьем, но Дмитрий Сергеевич пугается встреч, и сворачивает, исчезает в дневной синей выюге, и Александр Сергеевич, летним днём, идёт по аллее, думая о ненаписанном *им Христе*, а Дмитрий Сергеевич мучительно ждёт и провидит Второе Пришествие, час, когда после Бога Сына сойдёт к людям Бог Дух, даст земле Третий Завет, и придёт исполнение вечной мечты всего мира; время чёрно, время мрачно; и провидит он в чёрном времени Грядущего Зверя; иногда этот зверь называется: Грядущий лакей Смердяков; а поэт, пьющий утренний кофий, ждёт Революцию, торопит её, и влюблён в Революцию... и всю жизнь будет Пушкиным бредить, Пушкин бредит Петром, Пётр видит в Венере возрождённую, в пене казней, войн,

мятежей, величественную Россию, и, целуя в восторге мраморную Венеру, *Россию* целует в ней: в безответные ледяные уста; и уходящий в синей метели видит в Петре лишь Зверя, государя Антихриста, и в Венере белую дьяволицу, хотя видение его изменчиво, трудно; Пушкину хочется узнать в Петре Бонапарта и Робеспьера, и императора римского толку; Пушкин весёлый и чистый язычник; и Анна Андреевна, вслед за ним, язычница чистая, но язычница новой веры: Царскосельских садов, Камероновой галереи; и все мы язычники Города, в нашей вере наш Город: храм, алтарь, жертвенник, молитва, элизий и драгоценнейшее собрание текстов; как непостижимо сошлись они все, мои гости, тени Летнего сада: в государе Петре, Санкт-Петербурге, Венере, Христе... и все, кто жил после Пушкина: в нём, в Александре Сергеевиче; вот пять точек, пентаграмма противу черта; от которых крутить и вертеть; и куда ни крути, всё одно попадёшь: в Россию; а Россия проста; пьют и кровь лют; в чёрном Летнем саду кричат вёроны над Мережковским, и мистический ужас его пробирает: если ворон чёрный живёт триста лет, то вот эти же самые, чернопёрые Кассандры, каркали в чёрной ночи над заговорщиками, убийцами императора, что вечно идут, идут через ночной Летний сад, от Талызина, где перепились до бесчувствия, их много, человек шестьдесят, уверена, что кого-нибудь спьяну и потеряли, и он утром, с трудом поднимая чугунные веки, сквозь чудовищную головную боль узнал, чем всё кончилось, ночь противная, мартовская, отсыревший, протаявший за день снег прихватило морозом, и он мерзко хрустит, проседая под ботфортами, сырой ветер с моря пронизывает сквозь мундир под распахнувшейся шубой до костей; и вёроны в черноте гнусно, пугающе громко кричат... *а куда же они идут*, – удивилась вдруг моя девочка, – ещё нужно устроить дворец! – и увела влево тяжёлую штору...

Х

Утром, третьего дня, приключилось неприятное. Полыгалов опять мыл ноги в раковине для умывания. Крепкая рожа, трусливая и нахальная в одно время, глазки шныряют. Жизнерадостен. Неприятен мне с первого взгляда. Лезет с миской без очереди, когда к двери подвозят на железной телеге бачок со жратвой. Ему объяснили, что очередь по порядку, как койки стоят. Кивает; вечером история повторяется. Ему не уразуметь, для чего сидеть и ждать очереди, когда можно толкаться и лезть. Кажется, он здоров, пришёл на обследование. Крутит транзисторный приёмник во всю громкость; в палате же двадцать семь человек. Его любимая песня *Вологда-гда*. Горюет, что нельзя принести из дому магнитофон-стерео с колонками в десять ватт, послушать *Вань, гляди-кась, попугайчики*. В таких людях меня удивляет насекомая их убеждённость в своем праве на всё. И передергивает меня от его чистоплотности: моет ноги в раковине, где умываются. Трижды я делал ему замечание. Глядел, злобно, или насвистывал независимо. А третьего дня, утром, с неожиданной, животной какой-то злобой ударил мокрым полотенцем меня по лицу. Мне стало нехорошо. Пришёл в себя в палате, в постели. Врач сидел возле меня. Вставать мне снова нельзя. Полыгалова, в наказание, выписали. Теперь он гогочет дома. Крутит *Попугайчиков*. Моя выписка отодвинулась, кажется, в никуда. Врач меня утешает. Я умру здесь, умру...

Часто, подолгу думаю о телефоне, подчёркнутом красными чернилами в моей записной книжке. Жалею, что невнимательно сжёг книжечку вместе с рукописями. Почему-то со мной оказалась другая записная книжка, с различными выписками из книг (в последние годы я кое-что читал). Выписки занимательные: ...*Кто имеет право писать воспоминания? – Всякий. – Потому что никто не обязан их читать...* Или: ...*этот роман был начат в надежде воздвигнуть своего рода ширму, которая отделила бы меня от чрезмерной любезности пассажира третьего класса... вполне возможно, что читатель возьмёт его в руки с тем же намерением: ведь книга по-прежнему остаётся существенным убежищем, где мы можем...* записки мои отделяют меня от нынешнего моего тоскливого состояния, отвращения, которое

я испытываю перед... вот ещё любопытная запись: *...во всю жизнь мою мне досадно было, что предки мои были так нерадивы, что не оставили после себя ни малейших письменных о себе известий и через то лишили нас, потомков своих, того приятного удовольствия...* а что, задумываюсь вдруг я, задумываюсь ночью, в больничной палате, где синеватый, в черноте, свет уличного фонаря даёт мне возможность читать, не без известного напряжения, угадывания, и даже писать что-то, неважно очиненным карандашом, что можем узнать мы о жизни прошедших времён, жизни исчезнувшей, ведь никакие *Шинели* и *Пиковые дамы*, никакие *Прибавления к Инвалиду* и *Северные Пчелы*, никакие жукóвские, вяземские, корфовские дневники, никакие переписки Бобринских или Карамзиных, Гончаровых, Геккернов, Вульфов приблизительно даже не покажут, как же происходила, творилась жизнь в Санкт-Петербурге той зимней, синей поры, жизнь как материя жизни таинственна и тонка, невозстановима: уловимы и именуемы дни, случаи, простейший сюжет, которые даются последующим временам из дневников, переписки, реляций, по которым впоследствии пишутся книги Истории, и как же постичь, ощутить минувшее, исчезнувшее, не говорю уже о невозможности что-то понять даже в том, что меня окружает... из какого романа, какой пресловутой *Пчелы* можно будет узнать через триста лет, как ночами, тайком, меж сугробов, у Витебского вокзала покупали в машинах такси у спекулянтов водку, переплачивая втридорога... и зачем? дичь какая-то; кто и как догадается через три века обо всех фантастических мелочах, которые, нет, не поглощали нашу жизнь, но были её содержанием... джинсы! где *доставали* (незаконно и тайно приобретали) джинсы? весь Ленинград ходил в джинсах, как после в вельветовых штанах, миллион людей в фирменных, настоящего индиго, джинсах! и какие фирмы были в почёте, и сколько мороки, и зависти, доходящей до ненависти, и ночных девичьих слез от того, что нет джинсов и жизнь кончена, и как было важно иметь фирму лучше, чем у других, и как ударяли ночью обрезком трубы по голове, чтобы снять с человека не золотые часы, не серьги бриллиантовые, а джинсы: есть джинсы, и жизнь кончена... нужно бы писать про всё это, писать, в сундучок укладывать, да не вмоготу, и лень, и глупым кажется записывать то, что и так всем известно... через тридцать лет всё скроется в полынне времени. Если действительно время уничтожает прошлое (*я напишу ему, – понял я только что; я напишу письмо, ему, молодому человеку, автору повести в уважаемом журнале, моему рецензенту, и попрошу его...*), если действительно время уничтожает прошлое, и мой скудный миг является средоточием, чашей, копилкой, сокровищницей всего, необъятного в глубине и тяжести своей, прошедшего, и этот миг, весь дрожа, вот-вот перелётся в следующий... мне горько, горько мне за себя, горько мне жить, неумело, неуместно, и умирать ещё горше; *что же это за истина, что перестает быть истиной по ту сторону Пиренейских гор*, опять записная книжка, кто имеет право писать воспоминания? – всякий, как чудесно я понял недавно, что я человек маленький. Всю жизнь я считал себя чем-то значительным, а пришёл черед умирать, и вижу... и тетрадь моя представляет записки маленького человека (погубил, *погубил* меня Мальчик самым существованием своим), что лишены наблюдений, обращённых вовне, и избавлены от философии; философией, говорили мне, должен владеть роман, роман я уже написал, философии в нём ни черта не нашли, а нашли в нём много неискренности... четвёртый час ночи. Хорошо бы уснуть.

Как мечтают о счастье, о любви и о пылкой славе, так я мечтаю уснуть. Вот ещё, пожеланием тихих снов, из старинного сочинения: *...Когда не мечтаешь уже иметь в своём распоряжении десятки лет, когда ночь приносит угрозу неизведанного, отказываешься от искусства и довольствуешься беседой с самим собой; внутренняя беседа, вот всё, что остается приговорённому, час которого откладывается и откладывается, приговорённый сосредоточивается в себе, ум не действует, а созерцает; и пока он может держать перо и имеет минутку уединения, он сосредоточивается перед этим отзвуком самого себя и беседует с...*

XI

— Чтобы произошло убийство, нужен мрачный дворец, — движением тонкой, почти детской руки увела влево тяжёлую тёмную штору; и возник в недобром свечении утра Михайловский замок. — ...люблю его хмурую колоннаду. Его лестницы грубого камня. Хозяйку его, вызывающую красотку, *у дворца было имя архангела и краски любовницы*, юную княгиню Аннет Гагарину, хоть была она маленькой дрянью, пусть не такой законченной дрянью, как Нелидова, монашенка, жадная до денег, поклонения, лести, власти, с иноземных послов взи-мала Нелидова чудовищные взятки в золоте и бриллиантах: за заключение договоров, о кото-рых знала заведомо, что император подпишет их... и Аннет, всё зная о заговоре, императора не уведомила; и мне императора *жаль*; искренне жаль императора, он был умница; и несчаст-лив, как только несчастлив может быть человек: несчастлив в рождении, в любви, в таланте и в смерти; в российской Истории императора Павла занесли по графе помрачённых в рассудке, и тем успокоились; теперь каждому думать приятно, что он *лучше* императора и, главное, *умней*; в череде императоров российских, в сем *величественном порядке*, фигура императора Павла трагическая из трагических; примеры его помрачения? перечти внимательно все указы: гене-рал такой-то исключён из службы за пьянство; семь полков, потерявших знамёна, лишены зна-мён впредь; кучера и фореиторы не должны кричать при езде; наезжать на людей запрещается; ремесленники, берущие заказ, должны соблюдать срок; в театрах соблюдать тишину и поря-док; выслать из Петербурга в деревни всех ненужных крестьян; маленьких детей не выпускать на улицу без присмотра; у подоконников, где цветы в горшках, устроить ограждения, чтобы горшки на прохожих не падали; именно он придумал собакам значки на ошейники, чтобы знать, с кого спрашивать за собачью вину; именно он придумал, что орудия должны стрелять в цель! армия помирала со смеху, скрипела зубами, темнела от негодования, когда он вводил во всей артиллерии новые, Эйлером рассчитанные, испытанные в Гатчине лафеты, упряжки, диоптры: м-мы! герои Кагула и Рымника! побеждали без этих глупостей!.. в нём горела тёмным огнём последняя искра петровского гения, и мне кажется верной угрюмая сплетня, что текла в нем петровская кровь; *жаль* его... лишь солдаты его любили; единственное время в истории Империи, когда солдата хорошо одевали, хорошо кормили, давали денег; а император искренне любил дворян, *Русский Гамлет*, для всех, и в первую очередь для себя, был он дворянгой. Гамлет!.. Гамлет: *страшно*... (она так это выговорила, что и мне стало страшно: пахнуло в лицо жутким, гниlostным холодом... актриска! дрянь талантливая, опомнися я) и хуже всего, что не знает, действительно ли император, мерзко удушенный, — отец его; к великому ужасу сво-ему, не уверен, что старая императрица, утеха всей гвардии, — его мать, и жена ли ему жена, и провидит, в сновидениях чёрных, что дети жены убьют его, и убежден, почти, что единствен-ную, кого он бессмертно любил, отравили... тут есть зачем выстроить крепость, окружить её рвами с водой, выкатить пушки с зажжёнными фитилями: узник в собственном Городе!.. и как все, все трагичные, изнуряемые мистицизмом русские люди, клонился к католичеству: иезу-иты, Мальтийский орден, святой Иоанн Иерусалимский, рыцарские чины и рыцарские кресты, игрушки воображения; и Замок его — игрушка; люблю Замок так, как если бы я его для себя придумала; и неверно и дурно считают, будто замок Михайловский мрачен: он добр!.. время умиротворило воинственность, унесли ветра грозный сумрак, в котором шпиль Замка блистал золотом с жестокостью шпаги; взгляни, каким был мой Замок, посреди Города: в неприступ-ных гранитных откосах, прорези в камне, орудия, с дымящимися фитилями, бледно сверкаю-щая под хмурым небом золочёная кровля, и над Фонтанкой, над гранитными набережными её, над Замком, на высоком древке: громадный парчовый штандарт, зыблемый жестоким морским ветром мягко и тяжело: на золотом поле чёрный, когтистый, византийский орёл; католическое рыцарство и Византия! мечта о воссоединении разделившейся некогда Римской империи; за

крепкими, крепостными стенами, под золочёной кровлей, покои и галереи, изукрашенные мрамором и порфиром, лазурью, золотом, бронзой, кованым серебром: просторность и величие Рима, утрюмость средневековья, роскошь и пылкость Возрождения; а финские зимы всё же финские зимы, и в залах, затянутых едким дымом от пылающих жарко каминов, по золоту, мрамору, гобеленам, расшитому золотом сукну ползут, темнея, блистая, с потолочной лепки тяжёлые, мрачные языки льда; как я бредила Замком! его потайными лестницами, подземными галереями с выходом в грот, что в Летнем саду; *не спасут*, ничто не излечит от гибели, *молчит неверный часовой, опущен молча мост подъёмный*, здесь Пушкин второпях обманулся, увлечённый восторгом, тем, который впоследствии не любил и просил не смешивать с вдохновением, он восторжен был, опьянён вниманием к себе и весельем, в ту ночь, у Тургеневых; а мартовской ночью мост не опускали, заговорщики перешли ров по льду: скользя, спотыкаясь... пьянчуги и трусы! и государь император (глаза моей девочки гневно сверкнули) вёл себя низко! согласна: в ночном колпаке и длинной ночной рубашке хвататься за шпагу неуместно и глупо, но у него над постелью висели заряженные пистолеты, и если бы он хладнокровно, как учила вся литература восемнадцатого столетия, уложил двух или трех, когда пьяная гвардейская сволочь ломилась в двери, клянусь, что прочие в испуге бежали бы, и поднялся бы в ружье караул; леденящий *страх* помрачил императора; страх высшего порядка; вечно жил император в ужасе тройственном: в ожидании кары Судьбы, за грехи матери и отца; в ожидании казни людской, несправедливой, от жестоких тайных злодеев; и в ожидании возмездия Божьего за свою непутёвую жизнь; *жестокость*... почему в жизни все, *все* несчастливы? глядеть жутко кругом: хочется плакать; и почему людям кажется, что если резко сделать что-то решительное, то мучения все прекратятся; и единственное мгновение счастья: решительность, воплощенная в жизнь, в движение! мгновение – перед тем, как сломаешь хребет Фру-Фру. Почему? ты не знаешь?..

– Хочу бал, – сказала она огорчённо. – Хочу, чтобы весело. Лучше мы растворим осторожно Замок в серых туманах, морской ветер и солнце развеют туман, и увидим на месте Замка деревянный прежний дворец, ты не против? деревянный дворец, с галереями, позолотой и краской облезлой (и она осторожно, не без удовольствия, укрыла Замок тяжёлой шторой), ленивыми лакеями во дворе, прачками, криком кур и гусей, перебранкою кучеров возле отложенных карет... красивый и добрый дворец. И вот: *пятое сентября*. Вечер, тёмный и тёплый. Тезоименитство Елизаветы. Иллюминация и фейерверк перед дворцом. Во дворце бал. И весь Петербург толпится кругом дворца, жадно глядя в распахнутые окна. В люстрах тысячи свечей, и в свете их живого огня сверкают, блещут тысячи бриллиантов в причёсках и уборах дам. В Летнем саду гулянье с факелами, и щёголи в модном платье: синем суконном с большими разрезными обшлагами, в белых суконных камзолах, пуговицы повсюду гладкие золотые, а петли по всем местам обшиты золотым галуном; прелестные высокие причёски дам осыпаны пудрой, в ту осень в ходу пудра всех цветов, наимоднейшие же имеют названия: *заглушённого вздоха, совершенной невинности, сладкой улыбки, нескромной жалобы*, в моде мушки всех размеров, мушка звёздочкой на середине лба именуется *величественной*, на виске у самого глаза *страстная*, на носу *дерзкая*, на верхней губе *кокетливая*, у правого глаза *тиран*, на подбородке *люблю да не вижу*, на щеке *согласие*, под носом *разлука*; сколько терзаний, если возлюбленная появляется в пудре жалобы с мушкой разлуки, сколько волнений сладостных, если: согласие и заглушённый вздох; и гвардейская музыка тяжело вздыхает в саду, фейерверк рассыпается в зелёном небе над чёрными деревьями, и всё как в стихах Каролины: *и в толках о своих затеях гуляли в стриженных аллеях толпы напудренных маркиз*, каждый молод, и каждый влюблён, и уверен, что жить будет вечно; чёрные ночи начала осени исполнены тайн и чудес, влюблённостью дышат осенние леса Города, возникшего колдовством и для колдовства; взглядеться, и видно, как в такую же ночь пирует в Летнем саду, ещё цесаревной, Елизавета с гвардейцами, всеми презираемая за происхождение юная красавица, счастливица, и

гвардейцы, упившиеся мрачно, *сожалеют об унижении России*, и она, счастливая своей юностью и красотой, возглашает значительный тост, *я ещё покажу всему миру, что я дочь Петра Великого*, и хмельные грубые глотки просветленно ревут: *Виват!..* Юность Елизаветы; юность Империи. Вся Фонтанка: юность Империи; юность грубая и упрямая, неотёсанная и жадная, одержимая лютой, весёлой тоской по всему невозможному, что представляется достижимым, протяни только руку...

– Хочу праздник, – капризно и огорчённо заявила она, – хочу праздник! хочу ночи осенней, огней, музыки, счастья! и... не получается. Фейерверком, огнями в ночи рассыпается праздник, но лежит весёлая ночь между ужаснейшими войнами. И всех мальчиков юных, в белых суконных камзолах, с шпагами на боку, уведут в дождливый, тоскливый рассвет в чужие поля, и убьют. Все фейерверки в Городе, вся военная, струнная музыка – неперенный обман, гибель *где-то здесь, очевидно, но беспечна, пряна, бесстыдна маскарадная болтовня*, начинается тема призраков, *бледен лоб и глаза открыты, значит, хрупки могильные плиты, значит, мягче воска гранит*, много раз принималась я хоть приблизительно перечислить призраки, что блуждают по Городу в легендах, и литературе, и всё время сбиваюсь со счета: так много их, от императоров и графинь до ничтожных чиновников; почему не напишешь ты роман с петербургским призраком?.. (*куда я потом с романом тем денусь*, подумал я сумрачно, увидел лик Главного в Издательстве на канале Грибоедова, и поперхнулся) видишь? в дальнем углу меж Невой и Лебяжьей канавкой деревянный дворец; и ночью по залам дворца, склонив задумчиво голову, бродит женщина в светлых одеждах, и караул, озабоченно лязгая, отдаёт ей честь: императрица; и женщина бродит задумчиво, ночь напролет, и вторую ночь, третью; испугавшись, доложили Бирону; Бирон, запахнувшись сонно в собольи халат, подошёл к ней, покашливая, с учтивым вопросом; и в ужасе прочь, в спальню к императрице; и видит, что Анна Ивановна почивает; Бирон её будит и ведёт в тронный зал; часовые, лязгнув в приветствии, леденеют от ужаса: в тронном зале, лицом к лицу, *две Анны Ивановны, две самодержицы*; и та, что бродила ночами, медленно, медленно взойшла по ступенькам к трону, присела на трон и *исчезла*; горько заплакала императрица: *батюшки! это ж смерть моя*, и через три дня... и, стоит лишь сделать движение рукой, и нет никаких призраков, я люблю этот край допризрачным, грубоватым и очень понятным; здесь, как над старинной картиной колдуя, смываешь лёгким движением слой за слоем, и возникают из речного тумана... люблю до-историю Города, мифические его времена, вот, на месте дворца Петра, когда трубы победно ещё не звенели, темнеет в тумане мыза майора Конау, в тумане холодного утра выходит на огороды владелец, в вязаном колпаке, в шерстяных полосатых чулках, с трубкой, дым табачный смешивается с туманом, туманное осеннее утро, и почти под моим окном, в тумане, деревня Первушина, из названия очевидно, что она тут поставлена первой, а там, где лет через тридцать устроят зверинец, и слоны, дар персидского шаха великой северной императрице, затрубят по утрам, где ещё через семьдесят лет взметнётся каменный Замок, там, в осеннем тумане, деревня Усадищи; хорошие, добрые люди здесь жили; и война, что велась в трёх верстах отсюда, для них всё равно что за морем; тридцать одна деревня: семьдесят островов; с кабаками, церквями, погостами; новгородцы, финны и шведы, вепсы, эсты, корелы: *жили*; и почти не касаясь их, семь веков шла война королей за эти места; исконная доброта и вечные войны: вот сочетание, определившее, как я думаю, дух Города и судьбу его; и влажным, туманным утром, майским, точь-в-точь таким, как сегодняшнее, зазвенели над мызой, разграбленной за ночь, над разворованными деревнями военные горны; меня занимает, что Город уже был запущен, как запускают машину, и, грохая, жил потихоньку, копошился в болотах и на берегах просторной реки, а Петр *одиннадцать лет* не мог точно решить, *что* из Города вылепить, и *что* сам он, государь, самодержец России, здесь хочет увидеть: одиннадцать лет! Пётр... Пётр фигура загадочная, до сих пор разбирают указы, архивы; монографии пишут; что похуже, то прячут; что получше в персоне исследуемой, причёсывают; Пушкин *мог* разгадать чудовищную эту загадку; Пушкин, очаровавшись

Петром... не успел; не позволили; не судьба! граф Лев Николаевич, присмотревшись, пришёл в ужас и омерзение; и навсегда повернулся к чёрной фигуре спиной; господи! как я мечтаю о книгах, которых ещё нет в природе! как смертельно, отчаянно жаль, что они, эти книги, будут написаны через семьдесят, через триста лет после меня! плакать, выть от тоски хочется... *ах!* (проговорила она уныло и безнадежно) приплыл государь Пётр Алексеевич, на худой лодке, и развёл для чего-то Летний сад... (вдруг оживилась, и голос её заискрился удовольствием) развёл Летний сад: в голландском вкусе! затем Леблон разбил его во французском, по примеру Версаля, а Гаспар... повстречал государь в скучном Ревеле Гаспара Фохта, лучшего ревельского садовника, уговаривал, соблазнял, просил ехать в Петербург растить Летний сад, и, наконец, уговорил прокатиться и посмотреть; усадил с собой рядом в карету; поехали неторопливо; приезжают, и видит Гаспар: стоит домик под красною черепичною крышей, из трубы вьётся дым, пахнет жареным гусем, перед домом разбит цветник, розы цветут, у окошка сидит, улыбаясь, его, Гаспара, жена, и по дорожкам, усыпанным красным песком, бегут его, Фохта, дети: *папа! папа!*.. и остался Фохт петербуржцем. Петербург начинался с садов... как красиво, прелестно звучит: Петербург начинался с садов! умилились все, дружно забыли, что мой великий, несравненный мой Город начинался каторгой. Вот важнейшее различие, вот в чём Пушкин решительно разошелся с Мицкевичем. Пушкин знать не хотел ни о каких, здесь закопанных, ста или трёхстах тысячах; закопанных без могил, прямо там, где мёрли, между свай, на которых стоят дворцы, бастионы, набережные; *новорождённая столица, которая подымалась из болота по манию самодержавия, победа человеческой воли над сопротивлением стихий*, вот и всё; а для Мицкевича Пётр являл образец уголовного преступника. В первый раз в истории нищей России ткнули пальцем в ландкарт, означив, где будет географический пункт, где будет город заложен: и пошли, пошли, потянулись по грязным просёлкам; конвой по обочинам; вон, за Казанским собором: Переведенские слободы, жили в них *переведенцы вечного жития*; по бескрайней державе, на бешеных фельдъегерских лошадях: *Известие, колкое количество в губерниях доль, и что по плепорциям или долям подлежит взять на вечное житие в Санкт-Петербург мастеровых людей... с Московской губернии сорок семь кузнецов, трёх слесарей, двести восемьдесят четыре плотника, одна тыща четыреста сорок четыре кирпичника...* вот где ужас! с детишками и со скарбом: неизвестно куда, на край света, в топи болотные, на жите вечное, значит *до смерти*; и не ответили государю свирепейшим бунтом: всю жизнь, до смерти, прожили в железном капкане террора; и все, все, все, все – *все* они здесь и *умерли*; и каждый хоть что-то успел выковать, возвести, уронить в замешенный кирпич каплю крови; и лишь затем, *затем*, много позже, после многих капелек крови, что-то переменялось, *переменялось*, и неудержимая, дьявольская сила потащила людей в мой Город уже вольною волей, и ничем их было не остановить; и из всей бескрайней Империи всё лучшее, что в ней было, и всё худшее, что имелось в ней, тащилось, ползло, шагало, маршировало, скакало, несло вскачь: *сюда*, чтобы здесь, просверкнув, *умереть*, завершить путь, пополнить величайшее кладбище России; и все, кто сюда приходил, непременно вносили в мой Город своё, и тем его *изменяли*; все: керженский старовер, ярославский крестьянин, архангельский плотник, варшавский шулер, виленский вор, литератор московский, воронежская актриса; или граф, граф Растрелли, подзрительный граф; купил титул у папского нунция, приехал за удачей и золотом, мигом усвоил, что к чему в диком Городе, устроенном из флота, воды и барабанного боя, и вошёл с понимающим всё Трезинием в соглашение против Леблona, интриганство тяжеловесное, византийское, здесь сменилось интригами европейской изысканной тонкости, блистательными тем более, чем изощрённей были приезжие и чем глупей власть предержавшие; о искусство великое держать себя независимо и юлить! между тем как у любой закалённой умницы всё внутри умирает, если жизнь и творчество, то есть больше чем жизнь, зависят от дурака; ненавижу; дрожать начинаю от ненависти, едва вспомню про этого негодяя, вот фигура воистину чёрная, мрачнее Малюты Скуратова: *князь Изгорский, Прегордый Голиаф, Полудержавный Властелин...* гово-

рили, что именно он свёл отравой в могилу Екатерину, вдову Петра; он *мог*; умиляются тем, как он стойко перенёс свое крушение; стойко, потому что дурак; и ещё потому, что, лишившись в четверть часа всего, одеревенел до бесчувствия; восемь дворцов; десять собственных городов; девять миллионов золотом в банках Лондона и Амстердама; и власть, власть, *власть*: власть над Империей; после таких потерь все дальнейшие несчастья проходили уже незамеченными: смерть жены, Сибирь, голод, смерть дочери; сей новый Иов был Иов-поданестезией; твёрд, как бревно с мороза; если уж говорить о мужестве, то в пример приводить нужно великого Миниха, который вошёл в тюрьму в Пелыме в шестьдесят лет и вышел восьмидесяти лет: тугим, как клинок, талантливым, умницей, тружеником; что до птенцов гнезда Петрова, которых Александр Сергеевич воспел чохом, как Сорок Мучеников, если перебирать имена не спеша, загигая пальцы, выяснится, что все они были как один шкуры отъявленные, без чести, без совести: им и совесть и честь заменяла *личная преданность*, а какова цена личной преданности, мы знаем с точностью достоверной; и все они, как и следовало ожидать, кончили жизнь очень дурно; и всё же Леблону дурак и подлец Голиаф Прегордый погубил, и весь замысел грандиозный его погубил: по наущению Растрелли с Трезинием; бедный Жан Батист Леблон; на Леблону Петру указал Лефорт; Леблон ученик Ленотра, представляешь (тихонько засмеялась она), пронырливый, важный Ленотр, учредитель Версальских парков; Леблон в одиночку трудился как три академии; Леблон умел всё: заводить школы любых профессий, возводить и штурмовать крепости, осушать и затапливать поля и города, проектировать города, строить их, устраивать их освещение, поднимать затонувшие корабли; изящные и просвещённые всеми науками европейцы приезжали в мой Город, как те крестьяне: уронить каплю крови; и *умереть* здесь; из всех, кто зачинал Петербург, Маттарнови, наверное, умер первым; Маттарнови, который *старался придать царской резиденции характер если не пышности, то вкуса и красоты, для того времени немислимых...* кинуть взгляд в Крепость, и видно, как, по православному чину, хоронят колдуна, иноземца Брюса; и сколько их было, вовсе безвестных, как несчастный француз Вераж, которого зарубили башкирцы потому лишь, что не говорил по-русски и носил синий камзол, похожий на шведский мундир... я безмерно, бесстыдно, бесконечно завидую чужому умению замечательно мыслить, я немею (вздохнула счастливо) перед возможностью лёгкой ремарки: *прошло сто лет...* хитрость в том, что ничто не проходит. Всё-всё остаётся: движущимся, живущим, трепещущим, как сверкающая под солнцем юная листва на ветру... всё временно, всё неустроено, всё на кривых сваях, над гуляющей, плещущей вольно водой, камень здесь будут класть только при Екатерине Великой, и над Невой висит деревянная зала для торжеств в честь венчания цесаревны Анны Петровны с герцогом Голштинским Карлом-Фридрихом, в громе и светлых дымах торжественных пушечных залпов плывёт через Неву после венчания в Троицкой церкви свадебная процессия: тридцать три золочёных галеры, и забыт за ненужностью давней майор Конау с его вязаным колпаком, красуется на его земле, в лесу, причёсанном и ухоженном, как версальский парк, микетти-леблонковский-шлютеровский дворец, золочёная кровля, по углам её четыре золочёных дракона, и вверху флюгер с золочёным красавцем конём, и мраморная Афродита Пенорождённая, прикрывая девичьи груди, светится наготово своею в гроте, ещё не Таврическая, потому что дворец Таврический в Петербурге не возведен ещё, ещё правит Таврией хан, ещё будущий князь Таврический не родился, *Афродиты восстали из пены*, удивительно свежая, как морской ветер, трезвость пирующих кровавых времён, когда привиденьям нет ещё места среди сосновой, пахучей щепы, когда грозным *указом* по всей Руси запрещены чудеса, *Афродиты восстали из пены, и безумия близится срок*, и пока что Герман ван Боллес ладит первый в Городе, деревянный Симеоновский мост, точь-в-точь такой, как на родине Боллеса, в Амстердаме, разводной, с противовесами, и готовится возводить узкий шпиль Петропавловского собора, Герман ван Боллес ещё не в опале за нелепые вредные размышления вслух о таинственной смерти царевича, царевич покуда жив, хоть и смотрит с тоской на всё, что творится вокруг: что-то роют, рубят и камень кладут. Литейная

часть, где живём мы с тобой, Леблонем намечена для приличных людей, и хоть волки зимою загрызли здесь двух часовых у ворот Артиллерийского двора, сорок восемь каналов превращают Литейную часть в Амстердам, по широкой-широкой Фонтанке плывут неторопливо, огибая осмотрительно отмели, барки с лесом и финским камнем, Фонтанка уже Фонтанка, потому что фонтаны уже бьют в Летнем саду и играют на солнце, в водяной искристой пыли дрожит радуга, ключевая и ледяная вода для фонтанов бежит за восемнадцать верст, с Дудергофских гор, от мызы барона Дудергофа, среди всех родников Дудергофских озёр есть один, из которого воду будет пить, где б она ни жила, императрица Екатерина Великая, вода бежит по Лиговскому каналу в акведук над Фонтанной рекой: трёхэтажные водовзводные башни украшают её берега. Шестьдесят восхитительнейших фонтанов, гордость царя Петра, который ещё не увенчан Ништадтским миром, ещё не император, шестьдесят чудесных фонтанов, обсаженных ильмами из Москвы, грабами из Киева, липами из Нарвы, кедрами из Соликамска, яблонями из Швеции, розанами из Данцига, тюльпанами из Голландии, шестьдесят фонтанов, украшенных раковинами из Ильменя, фонтанов, бьющих из сказочных, золочёных *фигур с аллегорией*, каждая из фигур изображает басню, и лучшая из скульптур – золоченый Эзоп; идёт *юность Империи*: чудесная, как морское утро у Лансере, веет ветер утренний с моря, и Город мой возникает из белого сумрака, распускается в утреннем сумраке, точно росую обрызганный куст сирени в ветреном утре, и садовники его не видны: тысячи, в грубых рубахах, что копают уже Лебедянку, пруды Па-де-Кале, Поперечный канал и Мойку, отделившую Второй Летний сад от Третьего, пруды Елизаветы, копают, чтобы после, через семьдесят, через сто десять лет, половину, две трети из выкопанного засыпать; Мойку соединяют с Фонтанкой; Мойку соединяют с Глухой речкой; в сердце Города создаётся фантастический узел, трагическая развязка вод Фонтанки, Мойки и Екатерининского канала, и *никому*, никому ещё не известно, к чему это всё приведет... а над всем этим, *десятилетиями*, плывет недостроенная колокольня, торчащие стены собора Петра и Павла, который *десятилетиями* достраивать будет Миних.

ХП

Начинало светать; моя девочка почти не утомилась, говорила возбуждённо и весело; и по ее возбуждённости, хорошо мне известной, догадался я, что всю ночь, неуютную, майскую, простояла она у раздвинутых тёмных штор... талантливая и маленькая дрянь!

– Ничто не исчезает, – нахмурившись, сказала она. – Вот темнеет в рассвете акведук. И он будет всегда: изогнув над водой свои арки. К водовзводным башням можно притронуться. Коснуться шершавого камня, осыпающейся штукатурки, посеревшей от зим и дождей. В окнах башен синие стёкла. Камень в каплях воды. Вот висячий Цепной мост; мост Земцова; мост в Летний сад; тяжело, чугунно повис на пяти корабельных, якорных цепях, цепи закреплены на высоких, кружевных чугунных опорах, посередине опор две широкие арки для проезда карет, по бокам узкие, для пешеходов, и под кружевными арками, опять-таки на цепях, висят фонари. Где теперь, весь в асфальте, Косой переулок, играет водою Косой канал, по нему везут в барках брёвна, смолу для Партикулярной верфи. Корабельные плотники строят гребные суда. Вот строится церковь святого Пантелёймона (её ударения оскорбляли порою мой слух; много позже я выяснил, что говорила она безукоризненно правильно: Пантелёймон, и Агамёмнон...), вот Придворные прачечные, и Прачечный мост, Соляной городок, вот темнеет, за Красным каналом, дом Миниха, и каналом везут во дворец к прелестной Елизавете конфискованную у Миниха мебель, роскошную, золочёную мебель; Миних уже арестован; вот в Летнем саду устанавливают мраморные статуи древних богинь, варшавский трофей Суворова; вот кирпичное здание почты: там, где через полвека обнажит грозно шпагу бронзовый, в латах, Суворов, *Бог Войны*, и в звоны гвардейских горнов, в военные плачи флейт вплетают весёлый и непочти-

тельный голос почтовые рожки; вон висячие сады де ля Мота... господи. *Неужели придётся уехать отсюда?*

– ...*Придётся*, – вздохнула она. Вздохнула-вздохнула-вздохнула... – *А жаль!*

– Жаль... *в Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нём...* сколько солнц захоронено в этих туманах, и ведь все эти люди, с честью, или с бесчестьем, умершие здесь, творили, не подозревая того, *мой мир*. И утверждали в мире: меня! люди, все, прежде жившие, утверждали *меня*, своей жизнью, непременно присутствуют здесь: во мне, мной! и существуют: моею магией слова! я *словом* утверждаю их, утверждаю существование называемого, вытягивая его из небытия: как мыслю утверждаю сущность; и несчастный Вераж никогда бы не существовал, если б адмирал Шишков не припомнил случайно его в своих записках по причине анекдотичности гибели молодого француза; имя Веража лежало бы молча в архивах... нет? что-то не вытанцовывается; нет; *жалко, нету Елены*; Елена бы вмиг всё распутала... (кто такая Елена, я не знал и, признаться, не интересовался) ...а неверно здесь вот что... Здесь должна быть триада: *Знак, Слово, Мысль*. Триада, она же цепочка. Короткий вид данной цепочки: *знак – мысль*. Утверждённое мыслью и магическим словом существование закрепляется в знаке. Знак собою являет магический код. Знак может быть не расшифрован. Знак не может быть расшифрован, если ищущий не владеет ключом. Если знак непонятен... не понятно слово... господи, *страшно* как. Ведь достаточно пересечь тонкую, тоненькую связь: и существование станет неосуществимо. Достаточно книгу сжечь. Достаточно воспитать два, три поколения, чтобы они не умели усваивать данный знак, книгу, текст: и уже будет нужен подвиг, чтобы заставить людей понять... я не знаю что: *Евгения Онегина*? достаточно умолчать о писателе на семьдесят лет, и открыть его будет труднее, чем *Слово о Полку*... (она гневно, возмущённо вскинула прелестную, надменную головку) и всё равно! *всё равно...* (упрямо и медленно, тщательно, наперекор кому-то выговаривая каждое слово) *всё равно*: любое мгновение длится всегда! всё существует *вечно*, я в том уверена. Переходим из грани мира в другую, как при Елизавете иноземцы шалели, делая шаг и попадая из роскошных и ярко освещённых улиц в гнилой, чёрный лес; всё творится, живёт, совершается одновременно: костры гвардии на лесном лугу, что затем будет зваться Царицыным лугом, Марсовым полем, Полем Жертв Революции, костры гвардии и Вечный огонь меж гранитных плит Марсова поля, и костры ледяного Марсова поля, у которых греются днем зенитчики, вновь война, Город вынужден вспомнить, что он *крепость*, Город в чёрной, чумной осаде, флот военный, как при Петре, вновь часть Города, фантастичность надстроек крейсеров возле портиков, колоннад прежних зодчих; в Неве, возле Летнего сада, укрытые маскировочными сетями подводные лодки; и в Фонтанке, у Летнего сада, дремлют не барки с дровами, а тёмные, железные баржи с боезапасом главного калибра крейсера *Киров*... господи. Ведь положи сюда немцы хоть один снаряд: и... и всё кругом на три версты было бы иссечено горячим вихрем, и на месте Летнего сада возник бы овраг глубиной метров тридцать, который бы с грохотом, в тумане горячих динамитных газов, заполняла чёрная, вспененная и мёртвая вода... во сто крат хуже той жуткой бури, в ночь на десятое сентября тысяча семьсот семьдесят седьмого года, когда Город утоплен был в гневно штормящем море, все деревья Летнего сада были расколоты ураганом в щепы: вязы, грабы, липы, яблони, кедры, и по всему Петербургу и окрестным лесам выдраны с корнем многие тысячи деревьев, ночь, когда погибли фонтаны, погиб акведук, погиб золочёный Эзоп, трёхмачтовые корабли с пробитым днищем и переломанными мачтами лежали в разорённом Летнем саду, когда, угрюмо ворча и кружась, уходила вода, оставив на одиннадцать верст кругом разрушения, трупы людей и зверей... и никто не воспел ту ночь восхитительными стихами, и никто не пригрозил Петру: *ужо! строитель чудотворный*, и Медного Всадника, гордого украшения берегов Невы, вечного конвоира и вечного узника Города, не знали ещё... люди не смеют коснуться грядущего, обречённые вечно творить его, и зловещие, неистребимые пророчества, юродивый захлебывающийся крик, что *Петербургу быть пусту!* –

вспыхивают в миг катастроф с пронзительностью и отчаянием озарения, и кажется, что *легко*, очень легко в белой, бледной ночи зачатия Города, обречённого колдовству, *увидеть*: в чёрную, осеннюю ночь все громы, все бури, несчастья, проклятия рухнули на безумием созданный Город, шторм рушит с чудовищным треском деревья, Город по крыши захлёстнут морем, буря разбивает тяжёлые, пузатые корабли о верхние этажи дворцов и церквей, в огне молний загораются шпили и кровли, горит в аспидной чёрной ночи шпиль собора Петра и Павла, шпиль церкви Троицы, горит храм Исаакия, прежний, ещё со шпилем, горит шпиль Михайловского замка, горит Зимний дворец... треща, как громадный костёр, пылая, взлетает на пене шторма Исаакиевский мост, горит от зажигательных бомб Адмиралтейство, горит Сенат, огненным ураганом вздымаются великие пожары вдоль Мойки и вдоль Фонтанки, медленно рушится дом Адамини, а за Крепостью, в три четверти неба, разворачивается такое зарево, что тускнеют в нём все остальные пожары: горят аттракционы Народного сада, подожжённые немецкими лётчиками, и вода сверкает в чёрной ночи, отражая то красный огонь, то ослепительный белый, огненно-чёрная ночь, и *проходят десятилетия, войны, смерти, рождения; нет я в этом ужасе не могу!*.. и происходит вдруг таинственный поворот в сюжете. Таинственный поворот в сюжете. Гений ремарки: *белая ночь. Город в развалинах. От Гавани до Смольного видно всё как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметевском саду цветут липы и поёт соловей...* В Шереметевском саду цветут липы и поёт соловей, в Летнем саду цветут липы, вечерний фейерверк в честь взятия Данцига, и чистой публике на потеху показывают пленных французов, и пленные турки, выписанные Екатериной в Балтийской флот, моют палубы русских фрегатов, вдоль решётки Летнего сада прогуливается пленный Шамиль, пленные шведы бьют сваи по берегам Фонтанки, пленные шведы мостят Невскую перспективу, строят деревянный Аничков мост, пленные немцы, каменщики и плотники, восстанавливают дом Адамини. В Шереметевском, как и в Летнем саду, цветут липы. Июньским утром по Летнему саду идёт Александр Сергеевич Пушкин.

ХIII

– Да, – тряхнула головкой убеждённо она, и улыбнулась, одною из самых редких, мечтательных своих улыбок. – Июнь. Тысяча восемьсот тридцать четвёртый год...

– Впервые за много весен и зим, впервые за всю его жизнь ему выпали семь дней покоя. Прощение об отставке лежит в канцелярии графа Александра Христофоровича. Наталья Николаевна с детьми в Полотняном Заводе... и он обедает вновь у Дюме, лениво шутит о Софье Остафьевне, и думает о Софи Карамзиной, уплывшей в Италию, о великой княгине Елене, прекрасной Елене, легко задумчив, волен и одинок... счастлив. Перемена всей жизни настолько близка и уже ощутима, что не хочется даже мечтать ни о чём: просто *счастье независимости*; чего многим другим не постичь. Июнь тёплый, душистый. И всё по утрам: утренняя вода рек, черёмуха, липы, жасмин... всё пахнет счастьем. Пушкин пишет *Петра*, в июне тридцать четвёртого он *уже Пушкин*. Уже поздний, написавший *Медного Всадника, Пиковую Даму*, уже с лёгкой улыбкой заметил он о своих детях: *утешения мало им будет в том, что их папеньку схоронили как шута и что их маменька ужас как мила была на аничковских балах*, и легко, на вечный вопрос, ответил: *История принадлежит поэту*, он счастлив бродящей в тених листвы и солнечных пятнах независимостью, он волен. Живет у Оливье, налево вот здесь за углом, где прежде жил Гнедич, утром идёт в Летний сад, во фраке, не верь фразе в письме про халат, он горько насмешничает над женой, идёт, легкомыслен, задумчив, и кто может представить чёрные звёздные пропасти его мира, переживаемого так легко, и с кровавою трудностью! *я почти поняла*, ужаснувшись, когда прочитала: *...умираю я, как бог среди начатого мирозданья!*.. и великая тайна, каким же ему виделось его мирозданье; *живущим* её не постичь...

(День, между тем, начинался. Чувствовалось, что день будет солнечным. Уже воробьи галдели восторженно за Фонтанкой в Летнем саду. Кто-то прошёл по набережной уже утренним, отдохнувшим шагом, приветливо напевая: *а-а нам всё равно, а-а нам всё равно!*.. песенки из кинофильма *Бриллиантовая Рука* в ту весну пели все и везде.)

— ...Высокую меру души, по которой никто из нас, трусов, не осмелится жить, не откажется, и позволить себе делать всё, что биографам может и не понравиться, писать матерно в письмах, ночью браниться с дворником и прибить его, проиграть в одну ночь десять тысяч, умереть при ста тысячах долгу: государь император уплатит, *говорят*, написал он Нащокину, *что несчастье лучшая школа: может быть; но счастье лучший университет...* ему во всей жизни остались лишь два дня счастья, до понедельника, второго июля... до записки испуганного государевым гневом Жуковского, прошение об отставке будет взято назад, и Натали, вопреки несогласию мужа, привезёт в Петербург сестёр, с чего всё и начнётся, затем жизнь в квартире Вяземских, и затем дом Волконской, где спустя сотню лет учредят музей... не люблю дом Волконской! Квартиру ту не люблю, и он сам не любил, ужасно; вспомнить лишь раздражительность и нервозность, какими обставлен был въезд в ту квартиру. Тридцать четвёртый год, год последних надежд. В тридцать шестом он не мог уже ничему воспротивиться, его жизнь стала ему *чужой*, управляли ею другие, и он мучился тем, чтобы все *разрешить* поскорей... июньское утро пахнет черёмухой. Идёт тысяча восемьсот тридцать четвёртый год. Гоголь готовится читать лекции в университете, готовит себя к триумфу, не предвидя позора. Лермонтов в Красном Селе, в лагерях, и к зиме будет выпущен из юнкеров в гвардию, уже существуют *Невский Проспект*, *Маскарад*, существует пятая редакция *Демона*, и *Молва* начнёт в сентябре печатать *Литературные Мечтания*, через месяц перед изумлёнными петербуржцами Брюллов выставит *Последний день Помпеи*, где целый мир рушится в огне и отчаянии, Брюллов гений, он первый почувствовал, что мир гибнет, рушится, весь привычный, любимый мир, и указал это всем, но никто не поймёт ещё, не увидит, июнь тысяча восемьсот тридцать четвёртого, Гончаров уже выпущен из Московского университета, Лёвушке, графу Толстому, уже пять с половиной лет, и он уже дует на гувернёра и на весь мир, Достоевский уже сочиняет первый роман, из французской жизни, Чаадаев уже шесть лет держит в запортом крепко столе *Философские Письма*, и дичает в московской пустыне, становясь всё спесивей и утончённей, Александр Христофорович Бенкендорф уже граф и андреевский кавалер, а Герцен... любимый мой; Герцен *уже арестован*, и сидит в Крутицких казармах. Александр Сергеевич, прогуливаясь, идёт утренним Летним садом, не ведая, что восемьсот тридцать четвёртый год всё решит, Натали уже танцевала в Аничковом и необычайно понравилась, Беранже и Вольф уже открыли кафе, угол Мойки и Невского, Данзас уже переведён в Петербург, и три недели назад, у Дюме, Александру Сергеевичу представили юного, очаровательного, беспечного, длинноногого красавца д'Антеса... идёт утренним Летним садом, намереваясь жить долго, жить вечно, идёт мимо не видимого ему часового гвардейца возле мраморной, обнажённой Венеры, мимо многих Поэтов, многих других часовых, Летний сад, российский Элизиум, часовые хранят его вечный покой, и белой, военной ночью здесь вечно стоит, с винтовкой, молодой матрос, артиллерист крейсера *Киров*... мой отец.

— Глупости, — проворчал я, забираясь поглубже под одеяло, в уютное сонное тепло.

Мне было в ту пору...

XIV

Глупости, проворчал я...

Медлительность, с какой я пишу, приводит меня в отчаяние. Времени у меня почти нет. Возможно, поэтому меня тянет привлечь в тетрадь и синеватый оттенок утра, и жухлый упавший лист... всё, что ни припомнится. Любая мелочь становится мне дорога, как единственное

воспоминание. Умение же владеть пером предполагает умение выбора единственного из многого. Впрочем, известно (всем), что я писать не умею и вряд ли уже научусь.

Время моё уходит. Врач меня утешает, но я чувствую. Время моё уходит (ох, врёт мне мой врач!), а мне нужно ещё успеть, успеть записать главное: ужас душного, жаркого дня, у висячего мостика через канал Грибоедова, тень зелёной ещё листвы укрывала меня, горело золото львиных крыльев, и горячее, темноватое солнце августа ложилось на револьвер Мальчика чистым осенним блеском... тем и начать записки мои?

Жаркое солнце августа, револьвер Мальчика, чистый осенний блеск, да: семьдесят шестой год, двадцать третье августа², конечный день... что, впрочем, нужно считать конечным днём моей жизни? тот день в августе 1976-го? или день в конце сентября 1980-го, на берегу Карповки? или день в октябре 1969-го, на Фонтанке?... *трижды* подшиб Мальчик мою жизнь...

² Здесь нужно заметить, что устроена рукопись, которую Издатель получил от её героя, именуемого в рукописи Мальчик, и которую мы предлагаем вниманию читателя, довольно прихотливо: ход изложения в ней прерывается, петляет, то есть по несколько раз возвращается к одному и тому же, затуманивается отступлениями, и очень часто из одной точки (если попробовать изобразить сюжет графически) исходят и движутся в различных направлениях два, три, четыре *несовместимых* варианта повествования. Мы, насколько могли, постарались исправить рукопись и привести её в приличный и вполне удобный для чтения вид. В качестве примера таких излишних и мешающих противоречий сообщим, что в первоначальном, тройном развитии текста отмеченный сноской абзац длится так:

«Жаркое солнце августа, револьвер Мальчика, чистый, осенний блеск, да: семьдесят шестой год, двадцать третье августа... конечный день всей моей прежней жизни. Конечно же, можно начать записки и тем, уже давним, днём, но меня утруждает необходимость всё время возвращаться в прошлое, к тому, что случилось или могло случиться раньше; мне привычней изложение традиционное. Мне не узнать уже, каким путём шёл Мальчик к чёрному дню двадцать третьего августа. В сожжённой рукописи я натворил немало глупостей, придумывая за героя его жизнь. У меня история с Мальчиком началась серым, гадким, холодным днём, *во вторник, двадцать первого октября*... вот истинное начало моих записок.

XV

Зависть определяют различно. Причина тому проста: множественность ощущений, переживаний этого чувства; я же всегда переживал и ощущал зависть как острое, мучительное сожаление, душасщее и мгновенное чувство утраты того, что никогда мне не принадлежало и чего никогда уже у меня не будет. Я завидую Мальчику. Завидую даже горькой его кончине. Грешно ли завидовать умершим? да умершим ещё такой жуткой смертью... нестерпимой завистью завидую я себе самому, каким был я в мои тридцать с чем-то лет. Есть притча. Жил человек. Жил худо. И всю обиду свою вымещал на дрянной лампе, что составляла единственное его имущество. Нетрудно догадаться, что лампа чадила, и человек, измученный войною с жизнью, выкинул лампу в бешенстве: на помойку (и уже *никогда не узнает*, что безумием было требовать от нее света или тепла, что лампа была волшебной и могла исполнить неисчислимые, невероятные желания... дворцы в Пальмире, копи Соломона,

ласки Семирамид...). Притча почти про меня*. Влажным, холодным утром 21 октября 1969 года я вышел из Дома Прессы на набережную Фонтанки: удачливый, весёлый, чувствуя на губах вкус чудесной влюблённости, вкус ласки изумительной женщины. Что говорить о ней? женщина эта также вскоре исчезнет из моих записок: уйдёт, глянув быстро, презрительно и утомлённо. Влюблённость не получит будущего, как получить не могла любви; то была истинная влюблённость-нелюбовь, *не будем о серьёзном говорить, пусть в нелюбви господствует безверье*, чёрт знает, почему и откуда я помню такие стихи, *беспечный мир, бокалы, фонари... и женщины, красивые, как звери*, женщина, утренняя возлюбленная, тоже исчезнет, и я окажусь уже в одиночестве. Зачем я пишу? в чудесных осенних утрах мне иногда кажется, что мои неумелые записки вдруг будут поводом к чужому роману, удивительному, который мне уже не прочесть, не постичь.

А запах осени в то далекое утро, запах осеннего воздуха, запах осеннего моря томил Город, как умеет томить ожидание нежных чудес. Теперь, когда и самые шестидесятые годы подёрнулись утренней осенней дымкой, трудно различить, что же происходило в действительности, и что я придумал; и что примерещилось мне: не берусь сказать, насколько умел я в ту пору чувствовать мир; жизнь и по сей день чрезмерно загадочна для меня, но в каждый мой миг я *воссоздавал* в себе мир; с удивительной силой и остротой чувства; и тем жил. Живу тем утром; и всегда будет *жизнь* моя: утро осени шестидесят девятого года. Всегда будет: утро, грандиозность и нескончаемость утра, сизость, влажность и пасмурность его, серый воздух, свечение в воздухе: тонкий влажный скользящий блеск; точно за ближними крышами не узкое, в старом граните, тёмное течение канала Грибоедова, не угрюмая Нева, ширь Финского залива, а вольное, великое дыхание блистающего под хмурыми осенними тучами Океана... – Глупости всё! теперь, когда все шестидесятые годы подёрнулись неразличимой сизой дымкой, и даже я сам не припомню в точности, что же происходило в моей запутанной жизни, *никто* уже не узнает истины; а Мальчик *ничего не расскажет*; потому что Мальчик умер. Единственное и естественное решение: *переменить* мою жизнь *тем* утром. *Не ходить* в театр на премьеру, избавив себя от встречи с Мальчиком, гнусной ночи в камере предварительного заключения и последовавших за тем утрат. Движением карандаша я отодвигаю встречу с Мальчиком на несколько живительных для меня лет. Утрачивая *вечер* и *ночь* из тысяч вечеров и ночей, я приобретаю много. Возможность избавиться в повествовании от Фонтанки. Ничего примечательного на Фонтанке у меня не было. Звено *Мальчик* в Фонтанкиных делах не важно. Ведь, вертясь в Доме Прессы, я неизбежно был должен дружить с чёрненьким Пудельком, знакомиться с Владелицей: что, с мучительной неизбежностью, должно было привести меня на Грибоедов канал к Насмешнице. Там, на канале Грибоедова, истинное начало записок, конец и начало моей жизни. Грибоедовский период разъяснит всё. Вот я, умудрённый старший редактор отдела прозы уважаемого журнала, в дождливый день июня семьдесят четвёртого года, приду в дом у висячего мостика на канале Грибоедова и встречу очень повзрослевшего, весёлого Мальчика: бездна возможностей открывается мне при таком повороте...» – *Прим. Изд.*

* Вот сюжет для романа! где от жизни героя во множестве тянутся невоплощённые, но жаждаемые страстно мечтания и возможности! сюжет,

признаться, не нов, но интересен чрезвычайно: весь интерес именно во взаимодействии (что разрабатывалось слабо) категорически различных, противоречивых, взаимоисключающих ветвей, что, по сути, и есть жизнь! и покрутить таковое с двумя, тремя героями в едином времени... NB! – *Прим. Мальч.*

Жизнь кончена. Умру здесь: и хорошо поступлю (не будет ли неприятностей моему врачу? не слишком ли дорого я расплачиваюсь за дурацкую встречу в сентябрьском переулке на берегу Ждановки четверть века назад? так давно, что и вспомнить-то неприлично...); а пока я не умер, мне нужно писать: *холодным и серым утром 21 октября...*

Вот истинное начало моих записок; *в ту пору мне было чуть больше тридцати лет.*

XV

Холодным и серым утром 21 октября 1969 года я вышел из сияющего стеклом подъезда Дома Прессы на сизую, голубую набережную Фонтанки...

(Я написал: утром, хотя, вероятно, стоял высокий день и даже начинал клониться к вечеру: жизнь в редакциях начинается не прежде полудня, и в театр мне нужно было к половине третьего часа дня; в те осенние утра я вставал поздно; и осенние утра в Городе: и высокие, солнечные и синие, и прозрачные пасмурные, легко длятся до вечера, дымных чёрных и синих сумерек; вот отчего у меня ощущение нескончаемого утра...)

Вышел на набережную: удачлив и весел, даже как-то дразняще весел и дразняще удачлив! ах, нечасто я так чисто и искренне нравился себе, как тем утром. Веселье моё кружило и торопило меня: как осенний нетерпеливый дух кружил медленно и уводил Город... всё, всё было прелестно: и нескончаемый праздник, и рецензия, что шла в завтрашний номер, и чудесный театр, что ждал меня, и чудесная женщина, дарованная мне этим утром...

Три четверти часа назад я весело вошел в Дом Прессы, чтобы прочесть рецензию на мою книжку; я очень любил Дом Прессы, всё ещё считавшийся новым, и входил сюда с удовольствием, потому что меня здесь любили.

В утренних коридорах гулко было, и полутемно, и линолеум влажно поблескивал. В комнате, нужной мне, горела настольная лампа, красиво оживляя утреннюю осеннюю пасмурность. Её яркий свет с несильными оранжевыми и зелёными тенями заливал утреннюю ещё прибранность письменного стола и худые и загорелые, обнажённые почти до локтей руки хозяйки, и загнутые (чтобы не испачкать руки чёрной типографской краской) запасные полосы: оттиснутые на серых, сырых ещё листах четвёртую и вторую страницы завтрашнего номера газеты (уже кое-где исчерканные). Длинными пальцами (волнующими) отводя привычным движением прядь волос со лба, хозяйка улыбнулась мне; уголки её губ в улыбке пленительно уходили вниз, и улыбка получалась женственной и печальной. Издали я любовался этой женщиной уже долгое время. Её худоба, печальность, вызывающая некрасивость, презрительность, ироничная злость: всё виделось мне прелестным. Женщины с искрою злости, как и женщины в печали, притягивали меня, женственная злость всегда вдохновляет (а печаль сулит благодарную нежность); и плевать я хотел на холёных, витринных красавиц, все они мелочно глупы; и юные девочки не занимали меня, от них детским мылом и возрастной глупостью несёт за версту. Вкус любви, в который входил я в ту пору, манил к неизвестному; я хотел уже было влюбиться в ту женщину, мне недоставало лишь молчаливого её позволения: я вышел из лет, когда с удовольствием мучатся неразделённой любовью. И в то утро конца октября, войдя в пасмурную, согретую приятным, низким светом настольной лампы комнату, я почувствовал в улыбке хозяйки, в звучании хриповатого её голоса, что она действительно рада мне. Мы закурили; приятно курить в серый час утра с женщиной, которая тебя привлекает; чистое удовольствие слушать её умный, с изящной злостью, ироничный разговор, её мягкую, пленительную карта-

вость, что так причудливо окрашивает ядовитую иронию городских и редакционных сплетен, и я длил удовольствие, глядя на её загорелые, уже побледневшие в ленинградской осени руки, наблюдая в ней высшее проявление женственности, когда женщина не заботится, чтобы что-то украсить или утаить в своей внешности, и предполагает, что её достоинства много весомей незначущих пустяков; в то, холодное, утро на ней был крайне модный вязаный балахон, который ничуть не скрывал её гибкого и худого тела и, напротив, являл его почти с непозволительной чувственностью. Я увидел, что и я ныне нравлюсь ей... и я придвинул к себе четвертую полосу, вынимая золотое перо. Хвалебную рецензию на третье издание моей книги смастерил посредственный ленинградский литератор: сочинитель забытых повестей, в возрасте, достойном соболезнавания, и с именем, убедительным лишь для редактора Газеты; когда я условился в редакции о рецензии, я сам просил литератора об услуге, рассудив, что четвертной гонорара и последняя возможность напомнить читателям, что он ещё жив, литератору не помешают, и даже выставил ему литр, который мы тут же и выпили (к властителям дум я обращаться не захотел. Властители пишут такие вещи очень неохотно, они думают о вечности, о семнадцатом томе посмертных своих собраний, куда войдёт и переписка с литфондом, и пишут рецензии о младших товарищах по перу крайне долго и крайне плохо, и болезненно переносят, когда их в чем-либо исправляют. К властителям я ходить с челобитьем не захотел); и *литератор* мой насочинял!..

Три абзаца я вымарал без раздумий. Затем вылетели хвост, зачин и кусок из середины. Может быть, литра на двоих было много, думал с неудовольствием я, и литератор мой чего-нибудь недопонял? Литератор средней руки похваливал меня так, словно я был тупое дитя, выучившее стишок *Любит лётчик пулемёт* и прочитавшее его с табуретки гостям; ещё несколько фраз я выправил с ходу, и задумался сумрачно: нужно было срочно (и тонко) исправить испорченную литератором рецензию текстом решительным и изящным; я весьма ценил изящество формулировок, когда речь шла о моём творчестве...

В четверть часа всё было исправлено; смущало меня лишь то, что все двести, даже триста строк приходилось переливать: не выйдет ли неприятностей в наборном цехе; *я сегодня дежурю*, лениво сказала она, *перельют! что там?..* и гибким движением потянулась ко мне, всем гибким, прелестным телом, *ничего страшного*, мягко картавя, читая внимательно и очень быстро мои вставки и вычерки, *можно правку принять*, запах её волос, духи её нежным стоном прошли во мне, *дверь!..* мягко картавя, проговорила она, прерывая мою жадность, и в голосе звучал смех. Коснулась моих губ волосами она не умышленно, читая мои вычерки, и то, что она не *уступила* моей ласке, грубой, а с тайной насмешливостью пошла ей *навстречу*, с трудом дотянулся я до ключа, всё переменило: женщина, не которую выбирают, а которая *избирает* сама, уже я стал её капризом, а не она моим. В дверь постучали. Губами я чувствовал её медленную улыбку...

XVI

Губами я чувствовал её медленную улыбку: ситуация её забавляла. И то, что я запер дверь, и обрушил (сущим медведем!) кипу бумаг с полированного стола, ей представлялось занятым. Злиться мне на неё было поздно... и вдруг она, звериным вывертом вывернувшись, прикрыв ресницами тёмные, вмиг переставшие смеяться глаза, взяла мои губы властно, как злым вкусом, пронизав меня долгим, мучительнейшим наслаждением, и, насладившись жестоко моей дрожью, молча, упруго, уводя вниз голову, ушла.

Господи! *милая...* ведьма; чертовка; если, лениво, изученно целуя в губы, умеешь так пронзить и измучить...

(Тем временем женщина, вновь подаренная мне возлюбленная, повернув лениво плоский ключ, отперла дверь и, закутив, отводя любимейшим движением прядь волос со лба, глядела на меня с усмешкой, с прищуром.)

...то чем же одаришь в любви? – ...и чтобы унять дыхание; унять ноющую жилу в животе, я присел, поднимая уроненные мной бумаги: и выпрямился, держа в руке машинописный, истрёпанный экземпляр пьесы *Прогулочная Лодка*, пьеса в трёх действиях. Имени сочинителя я вновь не запомнил, отвлечённый другим: поражённый тем, что в моей руке лежала именно та рукопись, которую майскими ночами читала моя очаровательная девочка, я ошибиться не мог, на титульном листе пьесы темнел кофейный кружок, пролив кофе, я невнимательно поставил чашку не в блюдечко, а на рукопись, пусть простит меня неизвестный мне автор, оплошность моя извинительна, серой майской ночью, и уж слишком рукопись была истрепана, чтобы обратить на неё внимание, когда девочка целует сердито и горячо... и проявившееся вдруг в кофейном пятне присутствие моей маленькой, ласковой, очаровательной злюки, присутствие её здесь, в пасмурной, утренней и осенней редакционной комнате, ярко освещаемой настольной лампой, и очень мешало мне, и придавало вкусу губ здешней хозяйки трудно изъяснимую прелесть.

– А, – услышал я ленивый, хрипловатый голос. – *Пьеса...* Ты читал уже?

– Едва начал, – ответил осмотрительно я (ленивое и очень ироничное *ты* жарко отозвалось во мне лаской и усмешкой).

– *Бред*, – картавя презрительно, очаровательно, и уголки её губ в презрении ушли глубоко вниз: – *Мальчик, толкни лодку*, я встречалась (лениво) с её автором: *почти* графоман, совершенно (презрительно и прелестно картавя) не чувствует мира; ничего примечательного не сочинит.

Я чуть усмехнулся, кинул рукопись на полированный стол, в круг яркого света с оранжевыми, зелёными тенями, на исчерканный моим золотым пером чёрный газетный лист (и почувствовал, что, как ни жаль, но пора уходить; возвращаться к рецензии незадачливого литератора значило бы явить дурной тон; уговариваться о свидании – тоже. Всё у нас с нею *будет...* когда время придёт). Коротко я простился; меня не удерживали.

XVII

...управляла мною беспечность; женщины *любили* меня; женщин было так много: прекрасных, различных, непохожих, что приходилось, со вздохом, откладывать на неизвестное *после* влюбленности и встречи; и о деньгах я не заботился, играя удачливо в карты, что составляло в ту пору мой важнейший доход; к тому же меня *издавали*.

Кончался октябрь; вторник, 21-е число. И, очерчивая легким взглядом ближнее будущее, я видел: мои новые книги, фильм, мою премьеру в театре (...её поцелуй ещё жил во мне: тянущим, сладким, томительным *недомоганием*, приглушённое желание мучило и забавляло меня; чёрт возьми; что за женщина; властительные, ироничные её губы означили начало *чудесного...* и думать о том было лень).

Кончался октябрь.

Влажный ветер, пришедший издали, из штормов осенней Атлантики, задирали тяжело хмурые, чёрные волны Фонтанки; ветер растрёпывал жестоко и холодно мои волосы, загибал полы распахнутой моей куртки. Мне приятен был ветер; его влажный и жёсткий холод лишь укреплял удовольствие жизни. Куртка на гагачьем пуху (в ту пору я неизменно был хорошо одет, даже *очень* хорошо, и возводил умение дорого и со вкусом одеться в категорию нравственную), тёмный красивый ворот сорочки, крепкие красивые башмаки тоже были удовольствием, как и осенний ветер; с непокрытой головой я ходил почти всю зиму. За всю жизнь я

болел лишь один раз: простудился, когда, снежным и солнечным утром, долго нырял в быструю воду сибирской реки, чтобы зацепить тросом ушедший под лёд бронетранспортёр.

Гранитные, сизые и неровные, плиты набережной привели меня через сто шагов к каменному мосту, украшенному башнями, с висячими цепями. Каменные башни увенчивались золочёными яблоками. В сизости утра золочёные яблоки остро поблескивали, будто стянув в крутые свои бока текущее в воздухе свечение. Влево открылась осенняя, маленькая площадь; листья топорщились на осенней траве, мокрым песке (и я с удовольствием шёл по листьям, приминая их) в сквере, устроенном посреди площади, вокруг бюста великого человека (тысячи раз проходил я тот сквер! и ни разу не поглядел внимательно на бронзовый бюст; и как он выглядит, я теперь совершенно не представляю); изящной улицей Росси, прислушиваясь к мурлычащему во мне удовольствию осеннего октябрьского утра, и удовольствию влюблённости, я вышел уже на другую, красивейшую в зыбком блеске осеннего утра, широкую площадь, где чернел за деревьями высокий памятник матушке императрице; и вошел в кривой, узенький переулок Крылова; меня влекла утренняя привычка: выпить. Коварства коньяка я в ту пору ещё не чувствовал. Утренняя, крепкая выпивка изощряла восприятие, чувственность, дарила дорогое ощущение налитости тяжёлой, дремлющей силой, уверенностью, весельем (легкомысленным отчасти); и на Садовой, против стареньких арок, галерей Гостиного двора я привычно ввернулся в *цель*. Щелью именовался крошечный бар ресторана *Метрополь*, втиснутый под рестораном, в закутке первого этажа. В утренний час *цель* душно, до изнеможения набита была девочками; бегемот бы издох от их интимного щебетанья и дыма их сигарет; тут водились умные девочки из Публички, весёлые девочки из Гостиного Двора и очаровательные девочки неведомой занятости. Коньяк был дешёв, кофе тоже; девочки брали рюмочку коньяку за двадцать копеек, чашечку чёрного кофе и, изящно куря, за двадцать семь копеек вели красивую жизнь (впоследствии кофеварку упразднили, коньяк вздорожал, и девочки исчезли. В утренней тёмной *щели* стало пусто, чисто, приятно...). Меня здесь знали уже много лет, *что тебе, Серёжа?* и какие-то девочки уже глянули, из-под чёрных ресниц, на меня с интересом (мучительное недоумение желания вновь волною прошло во мне); жаль, меня ждали в театре; кивнув *то же, что и всегда*, я, поверх милых, и гладко причёсанных, и продуманно растрёпанных головок, взял тяжёлый, приятный всей тяжестью и округлостью тёмным коньячным цветом и медвяным, золотистым духом фужер (и конфету; я не любил затемнять вкус коньяка лимоном, тем более в осеннюю пору).

XVIII

В театре было чудесно; утренний свет поздней осени лился сквозь театральные, шелковые шторы; и запах осени чувствовался всюду. В театре было нарядно, празднично, душисто. В утреннем фойе все были любезны, знакомы, красивы, милы, здесь царили актёрские привычки, и женщин, изящных, весёлых целовали в щёчку, в изгиб шеи (в запах духов), или целовали руку, все здесь были родня, и все выглядели очаровательно утренними, ещё не вполне проснувшимися, боже мой, как я любил в ту пору утренний театр!.. и входя в нарядное фойе, я *увидел*: ...выгнув прелестную спинку, моя очаровательная девочка говорила, непринуждённо и весело, с моей красавицей женой; их, очевидно, познакомили только что (и ожидал я этого уже давно); жена моя выглядела, безусловно, *красивей*: изысканней, умудрённей, прекрасней; и всё же, всё же, *в чём-то* она уступала девочке; и это видели все; в изгибе её губ, тёмном взгляде жили внимание и не идущая к ней заинтригованность (*чем* можно увлечь внимание моей жены?), и тёмное, из-под тёмных ресниц, её высокомерие уже было *зависимостью*, девочка же, выгнув ленивую спинку, легко и точно поместив в воздухе плечики, была совершенно и непринуждённо свободной: ни малейшей заинтересованности в ком бы то ни было; её непринуждённость и беспечная уверенность были почти оскорбительными (для моей жены; для меня); и гово-

рили они о какой-то Елене, *Елена*, звучный, актёрский голос девочки, *через год... я живу в её квартире; за шторами Летний сад... балетный станок*, и голос моей жены, удивлённо и чуть недоверчиво, *разве Елена занималась балетом*, подойдя к ним с извинениями, что помешал разговору, я поцеловал девочку в подставленную мне невнимательно щёчку, и с искренней любовью коснулся губами руки моей жены (духи!), *гуляешь, мил друг*, небрежно проговорила жена, поворачивая красивую голову и небрежно разглядывая людей в фойе, *как мальчик, право. Вечные проказы*, насмешливо поклонившись, я отошел, просмотр собирал публику значительную, готовилась не просто премьера, но театральное событие, многих в фойе я знал, актёры, режиссёры, драматурги, публика из всяких управлений, ведающих театрами, прошёл горделивый Щелкунчик и вечный приспешник его, Попугай; гибкая и обворожительная Мила, заплит в театре за Фонтанкой, протянула, смеясь, руку для поцелуя (всё, давно уж, устраивалось к тому, чтобы мы с Милой любили друг друга, но вечно что-нибудь служило помехой); *когда же я*, с искренним сожалением, *доберусь до тебя, Мила? поспеши, милый, ждать устану*, смеясь; и озабоченный, как майский жук, заплит в театре на Невском налетел на меня, когда же вы напишете для нас пьесу. Пьесу. Вы для Ленфильма, я знаю (с сожалением я увидел, что Мила уже присоединилась к девочке моей и жене: ...*Елена, чудо Елена!*...), знаю, знаю, для Ленфильма сочинили комедию. Для нас. Пьесу. Пьесу. Не притчу. Пьесу; когда, *в четверг*, отвечал я, смеясь; а что, напишу для них пьесу; и Мишенька, лучший друг (всему Городу лучший друг), актёр из Комедии, забормотал вдохновенно мне в ухо, *уведут твою девочку, уведут* (пить с утра нужно меньше! тебе вечером играть!), *уведут*, вдохновенно и мрачно пророчил Мишенька, действительно уже крепко поддатый, *в деревеньку Москову уведут, меды пить, на золоте есть, заслуженной будет. Видишь, кто?..* я повёл взглядом и увидел **, главного режиссёра знаменитого московского театра, *завистники, Миша, украшают жизнь*, Мишенька хохотнул и развинченной своей походочкой отбрёл, *худсовет*, звучало в фойе, *худсовет. Худсовет. Главный... Смольный...* в причудливом отражении зеркала увидел я нарядное кружение, где каждый был если не знаменитостью, то творческой личностью; зеркало резко выделило меня: излишне широкие плечи, тяжёлая и высокая, легко подвижная фигура (в ту осень в моду, вместе со стилем джинс, входили длинные, гибкие мальчики с плечами шириной со спичечный коробок...); и что-то в зеркальной глубине дрогнуло, блестящее кружение застопорилось, ну, пробурчал с удовлетворением Мишенька, *работяги уже клюкнули*, отчётливый запах дурной выпивки, *значит, будет в премьере порядок. Можно и начинать*, портвейна, или чёрт там знает чего за полтора рубля мелочью, коснулся меня. Трое работяг, монтировщиков, в чёрных, грязных ватниках шли через нарядное фойе к высоким, белым с позолотой дверям, что вели за кулисы.

(Три витязя бубновых!..) шедшего впереди, мальчишку, я разглядеть не успел, и видел только его затылок, лохматый, упрямый и русый. За ним шёл грузный и чёрный, взъерошенной птицей, и всё не мог оторвать взгляда от пленительной моей девочки. Третий был лыс, пьян: старичок сморчок... тихо я *присвистнул*. Чудовищная сила гнездилась в том старичке; увидеть это мог лишь тренированный глаз; ой *не хотел бы* я встретиться ночью в переулочке с таким старичком.

...жена моя (в бешенстве! прикусив губу) отвернулась; девочка откровенно забавлялась; но чёрный, взъерошенный глянул от дверей ещё раз, и девочка сдвинула угрюмо бровки, *чисто рогожинский взгляд*, звучно и сумрачно говорила она, когда я подошёл, встревоженный. Жена моя, юная чистая красавица, принуждённо рассмеялась: ...*мерзавец, мальчишка!*.. *взгляд!* гм, нашел я что промолвить, смущённый: не учинять же из-за мальчишки историю. В приличных театрах, начал я, *милый критерий приличия театра*, холодно заметила моя девочка, величественные пожилые дамы, торговавшие голубыми программками, отворили белые, с золочёной лепкой, двери, и утренняя публика, любезно переговариваясь, потекла в мерцающий позолотой зал.

XIX

...ещё раз! Ещё раз: проход монтировщиков, пожалуйста; что-то в шествии их заключалось, чего я тогда не понял: важное! Их шествие, гулянье через утреннее, изящное фойе... Старичок не идёт в счёт. Истрепанный ватник, лысая, жутковатая голова. Узкие, висящие плечи, устрашающий бычий загибок, и чудовищной величины и тяжести клешни; старичок *приял* свои восемьсот, и приветливо пришепётывал: частушку матерную; старичок Добрыня не в счет. Витязь. Гиревик. Старичку до всех, лощёных, в бархате, дел никаких нет. У старичка личный, и интереснейший мир. Тревожный чёрный, взъерошенный (углём жгуций, рогожинский взгляд!), сумевший *взглядом* ввести мою девочку в угрюмость; что между ними, взъерошенным и моей девочкой, произошло?.. а как они шли! нет, как они шли! Чёрные. Выпившие. Укрепили, значит, декорацию, вышли *на угол*, зашли во дворик, приняли *Волжского*, рубль шесть копеек фугас, придымили папиросочкой. Вернулись. Теперь начнут, сказал Мишенька, актёр. И точно: пришли эти трое, в чумазах ватниках; и белые, золочёные двери в мерцающий зал отворились. Главнейшими они были здесь, вот что. Шли, как в лесу. В упор никого не замечая!.. и две женщины-девочки, красивые, как длинные цветы, посреди фойе; *и что?* загадка в том, что... И всё же, шествие их через нарядное фойе *переломило* дымчатый хрусталик моего утра. Чего я испугался? *Тревогой* нехорошей пахло; загадка в том, что горящий угольём взгляд чёрного и взъерошенного был моей девочке исключительно *понятен*; и мерзкий мальчишка глянул на красавицу мою жену, как предъявил ей счёт; *знал* мальчишка о ней что-то, чего она ему не могла простить! *вот с чего* начало всё рушиться.

XX

В небольшом зале, где тёмный красный бархат, позолота, вечерний огонь люстр, ложи в лиловой тени пахли духами, пахли театром (грешной мысли не допуская о возможности существования поздней осени, луж, осин, дикого ветра, наводнений, мокрых метелей), занавес был раздвинут. Тёмная, почти пустая сцена обнажена.

Какой-то полог, в непонятных узорах, речная коряга.

Моя жена уверенно прошла к любимым своим креслам. Изучив, с лёгким прищуром, сцену, села, положив ногу на ногу, очертив тканью платья красивейшее, узкое колено, и скупаясь развернула программку.

Зал наполнился едва ли на четверть; редкие островки изошрённых зрителей, профессионалов.

Жена, чуть наклонив красивую голову, читала внимательно перечень актеров. И, задумавшись с нею рядом о чём-то, я обнаружил вдруг, что мне совершенно не о чем говорить с ней. Гм!

...ты читала *Прогулочную Лодку*?

– Чушь, – отвечала жена небрежно. – *Мальчик*, *столкни лодку*; не о чем говорить.

– Почему же – все читают?

Жена улыбнулась, снисходительно. Любезный и ироничный говор в креслах не то чтобы стал громче, но переменялся в звучании: в проходе меж кресел, выгнув пленительную спинку, точно предоставляя возможность любоваться собой, шла прелестная, презрительная моя девочка; и с нею рядом **; *это и есть знаменитая твоя любовница*, спросила с лёгкой усмешкой моя жена. *Красивая девочка...*

...красивая девочка. Умненькая. Скоро тебя бросит.

...не отчаивайся, – вздохнула небрежно она, дочитывая программку до имён осветителей и бутафоров, – зато, говорят, у тебя головокружительная любовь в Газете?

(...с-сучий город! огорчённо подумал я. Часу ведь не прошло! часу! четверть часа ходьбы и фужер коньяку...)

...тоже, думаю, ненадолго. Твоя утренняя избранница, прости, не любит сплетен.

– Я... пересяду, – охрипнув вдруг, сказал я.

– Да, – чуть утомлённо отвечала жена, – сделай милость; я сама хотела тебя попросить. Чтобы ты не мешал мне. Говорят, хороший спектакль.

Молча я встал; ушёл в последний, полутемный ряд (*Говорят!..*); и уселся там, так, что весь ряд заскрипел резной, глупой, бархатной роскошью под тяжестью моей (моей, и моего гнева). И закрыл, чтобы унять гнев, глаза рукой, придавив сильно пальцами веки: синие, нежные пятна возникли из черноты вместе с болью: неким облегчением.

– ...простите, – с неохотой услышал я мягкий и улыбчивый, с хрипотцой, очаровательный женский голос (чтоб вы подавились все!).

Чудесная девочка, с великолепными, падающими на плечи и грудь длинными, выгоревшими волосами, в высоких сапожках, короткой юбочке. Волосы были небрежно заведены за уши.

Ей очень к лицу была улыбка. Мягко улыбаясь: как будто провинившись и как будто (от смущенья) хмурясь, тоном маленькой избалованной девочки, всеобщей любимицы, любимицы театра:

– Простите; вы позволите мне пробраться? в углу – любимое моё кресло. Простите...

Излишне торопливо я поднялся (...у всех у вас любимые кресла!), *привет, Ирочка*, дружелюбно и мягко сказали из ложи, *здравствуйте*, тем же бурчащим и нарочито игрушечным (как у плюшевого медведя) голосом, и улыбаясь, отвечала она. Впервые без интереса глядел я вслед красивой девочке.

XXI

...В вечерних улицах накрапывал дождь. Темнело. Фонари зажигались; Фонтанка хмуро катила воды вниз, в Коломну; мокрый ветер из темноты рвался ей навстречу, тяжело задира волну. Тяжело и прекрасно было мне после спектакля; мрачность и ночь гнал с моря вечерний, мокрый ветер на Город; мрачно гуляя, неизвестно для чего, по вечернему, мокрому граниту, я глядел на хмурую, чёрную, идущую пеной под ветром ночную воду, и видел яркую, в темноте зала, сцену и человека, лежащего в пятне вечернего южного света, человека, убитого выстрелом в спину; впервые я чувствовал, что такое настоящий *Театр*. Кажется, я ещё, и ещё пил. Пил всерьёз. Вечер, тьма и городские огни, качание мокрых ветвей; я озяб, мне хотелось тепла, дружелюбной компании, непритязательной пьянки (...все ваши квартиры, картины, камины, золочёную лепку на дверях, серебро!... я почему-то в последнее время всё чаще проводил вечера именно в таких квартирах: и с девочкой моей, тщеславной и капризной, и с красавицей моей женой; гасли обе, уходили в ночи, золотыми искрами...), чтоб как в восемнадцать лет, чадно и весело; и из автомата, возле цирка, я позвонил: может, выпьем? *Уже вроде пьем*, вяло сказал хозяин. *Приходи...*

И тут я засуетился: в оживлении, всем известном, перед тяжёлой (как тяжёлая артиллерия) попойкой. В магазине, что на площади перед цирком (дождь, и льющий, цирковой электрический свет), купил коньяку (что-то, *много* купил), апельсины (Марокко), и громаднейший, влажный и нежный, кус ветчины, ухватил на площади такси, и по осенней, вечерней (дрожащие капли на ветровом стекле!) Фонтанке... гнилая доска через лужу, двумя подворотнями, через дворы, помойки, чёрной лестницей, узкие железные поручни; звонить три длинных, четыре коротких; *входи*, затемнённый коридор, воняющий китобойней, потолки в чёрной дранке; чад с кухни, гудение огня; жильцы; чёрный телефон на стене, повисший на одном гвозде; кривая дверь; и, под тёмной лампой, пирушка в комнате с низким окном.

Вечерняя осенняя горечь вливалась в распахнутое окно и волнуяще, тоскливостью юности, перемешивалась с табачным дымом и водочным духом, угаром и всею горечью пьянки. Под жёлтой лампой увядала пирушка: несчастные девочки, пьяненький уже хозяин, ещё кто-то. Ветчина, коньяк возбудили недоверие ко мне и неуважение (лопух! швыряет деньгами, сообразил я; водки и телячьей колбасы триста граммов нужно было взять, портвейну красного); нехотя оживились! апельсиновые корки, в синем дыму, украсили стол. И прежде всего прочего я, глянув в чёрное окно, как на икону, выпил: лихо и крепко. Звучал, подрагивая, проигрыватель; пластинки случайные, древние и недавние, от ранней Пьехи, *Капитаны*, до Азнавура, *Любовь*, и переулочной шемающей *Проходит жизнь, проходит жизнь: как ветерок по полю ржи...* от которой хотелось мне плакать. Ветер гремел железом крыш; *не было бы наводнения*, вслух, а в глубине души: пусть будет; пусть будет; чтобы хоть наводнением нарушился ход осенних дней и ночей; невезучие, милые девочки; как топорщились неуверенной независимостью их печальные плечики; хочется праздника, а получают пьянки; нетерпение угрюмое, убежденность сердитая в праве (...слёзки ночные) своём на праздник; и вызывающая, горькая независимость нервных плечиков, к которым и прикоснуться страшно: искры и слёзы; мне известен секрет, как любую из вас сделать красавицей, королевой жизни, только для этого нужно истратить *всю жизнь*. Коньяк горчил; ...*ветерок по полю ржи, проходит явь, проходит сон, любовь проходит...* и, грустя вместе с девочками, я был горестно горд: одиночеством моим, и несчастьем моим; я был сам себе театр: на колесиках; театр! чудесный мир, где умеют *несчастье* делать красивым, а *гибель* достойной зависти, вновь возник, в ярком свечении, передо мной; мир, где устойчивость жизни красиво нарушена, а неустойчивость мучительно напряжена; чудесный мир, мне захотелось поведать девочкам про восхитительный театр: и чтобы глаза их темнели от волнения... и, вместо рассказа о премьере, я, с изумлением слушая себя, принялся живописать (лихой, казарменный юмор), как в зверскую стужу, сибирской зимой, я нырял в прорубь за бронетранспортёром, боже мой, как девочки хохотали, и, вдохновлённый, я перешёл к моему ротному старшине, изящно сгребая в кучу, напористо и азартно, все дремучие армейские анекдоты, грузить ляминь, похороны окурка, от меня до следующего столба двадцать шагов, сигнал к атаке красный свисток, рыть канаву от забора до обеда, поехали потом заведёшь, трепетные и загадочные девочки повизгивали, и, *ой, не могу*, валились друг на дружку, как кегли; истории, натурально, пошли с матерком, нежные девочки смутились ровно на длину опущенных разочек застенчивых ресниц, и продолжали внимать мне: с загадочным огнём в темнеющих глазах. Конь гнедой вдохновенья, четыре звёздочки, нёс меня!.. и кажется, я изрядно был *увлечен*, когда пришёл мальчик; и не имею возможности обставить явление моего Героя со всею торжественностью, как требуют того литературные приличия.

XXII

...пришли люди. Человек семь. Или восемь. Чёрт их считал! *много* для такой конуры. Гам, раздевание, плащи вешайте на шкаф, там гвозди вбиты, сесть можно на кровать, винище прими, хозяин, где чистые чашки. Девочки отвлеклись. Грустно; а вас как зовут? и в кутерьме возник, лишняя тень, хмурый мальчик, лет семнадцати. Как-то сосредоточенно выставил он на стол свой дар, тёмную бутылку *хирсы*, рубль тридцать семь. И ещё, мне заметилось, мальчик был очень плохо одет. Свитерок серенький, бумажный, изношенная курточка. Убогие девочки гляделись возле него королевами. Чёрт его знает, с неприязнью подумал я, неужели не понимает. Есть же у него, наверное, мать; может одеть? Где-то я его видел. Чистое лицо, взгляд тяжелый; *волчонок!* храни бог, чистый волчонок; поставили перед ним чашку, синюю, в белых горошинах; в неё он и смотрел хмуро. В синем чаду апельсиновые корки. Горечь осенней ночи в раскрытом окне. Коньяк в чайных чашках был красив; и вкусен. Те, кто пришел, резко врезали, уверенно, по две чашки, потеплели (...чья у тумбочке книга? Бунина, товарищ старшина!

Рядовому Бунину один наряд на кухню!), будто с утра здесь сидели; мальчик молчал. Коньяк он лишь пригубил; нет, не нравился мне мальчик. Где же я его видел? ...узок в кости. Грустен. Печален, но печалью какой-то давней, имеющей вид задумчивости (...кто тут любит музыку? Два шага вперед! Вот. А теперь тащите рояль на шестой этаж!). Голоден, а картофелину холодную и кусочек ветчины съел вежливо и неторопливо. *Верить* ему нельзя: не любил он смотреть на людей; но: если взглядывал, то: жестко и твердо. Недобрые, холодные глаза; темные, холодно серые; с легкой зеленью. Его грусть, задумчивость (шо? *товарищ майор казав? крокодил не летает?* Да, товарищи артиллеристы! Крокодил не летает! То есть, летает, но – *низенько, низенько...*) мне не нравились. О чём грустить такому щенку? И тонкие, как у девчонки, бледные пальцы в чёрных, глубоких ссадинах. *Чужой* он был здесь. *Волчонок* среди людей: вот вам портрет мальчика. И, решив окончательно поразить воображение независимых девочек (и воображение мальчика заодно), я изменил тональность. Вдохнул. Горько мечтательное что-то зазвучало в моём голосе: начинался рассказ об утренней, закрытой премьере... и я раздвинул пред ними чудесный занавес!

...нет; *с вашего позволения*, – угрюмо и скучно сказал вдруг мальчик.

– Жену, – сказал скучно мальчик, – играет Корнеева.

...Псс! – удивился я высокомерно. – Значит, по-твоему?..

– *Мое* мнение, *с вашего позволения*, – сухо сказал мальчик, – не изменяет состав исполнителей. Жену молодого ранчера играет Наташа Корнеева.

И мальчик хмуро вынул из курточки и вежливо положил, на полные чёрных окурков, яркие апельсиновые корки, бело-голубую программку.

Сказал, очень просто:

...я тоже ходил утром, и в тот же театр.

И девочки, доморощенные грации, тупо уставились на него. Общее неприветливое молчание мальчик неверно истолковал как приглашение говорить. Мальчик *не умел ещё* чувствовать, когда говорить следует, а когда нет.

...пружину интриги; вот-те клюква, подумал я, главного-то я в пьесе и не понял; и о романе, по которому написана инсценировка; в жизни я про такой роман не слышал; и о литературе тридцатых годов в Америке; и о подробностях последних лет жизни автора; сволочь какая, подумал об авторе я; и о неизвестном мне пуделе Чарли.

А *хорошо* говорил Мальчик! Умудрялся *лепить* картинку: яркую сцену, конюшню (ранчо, штат Оклахома). В каждой его фразе жил сюжет; фраза имела развитие и окончание; жаль, никто из присутствующих не мог этого понять. И умел дать почувствовать вкус премьеры, томительный дух театра. Всё это я пишу и вижу уже теперь. В тот миг я испытывал злейшее раздражение.

...прибавив, что премьера, конечно, событие в театральной жизни Города, но скорее музейно-историческое, потому что долго спектакль не протянет; *не жилец*, угрюмо сказал мальчик; и замолчал (и всё это скупое, кратко, точно; почти не поднимая глаз от коньяка в чашке; хриловатым и твёрдым голосом; и без всякой *подачи на девочек*).

Твёрдая манера мальчика говорить, держаться никак не вязалась с его детским видом, дрянным сереньким свитерком, детскими пальцами в ссадинах. И девочки, поджав губки, смотрели на него с неприступным сомнением.

...Чёрт бы побрал неприступных девочек! Вызывающую их независимость; ковбой Неуловимый Джо! *скачет по прерию ковбой*, усмехнувшись, сказал я. *Неуловимый Джо; он не потому неуловимый, что его никто поймать не может, он потому неуловимый, что он на ... никому не нужен*, и все с оживлением засмеялись; и забыли о неприличной выходке мальчика³ выпить! выпить, заговорили все с оживлением, девочки стали поправлять на себе, независимо, свои шарфики (уголочком глаза тревожно следя, не забудут ли им налить), *и не выпить ли нам за вечную тайну театра*, с усмешкой сказал я, *кстати, в качестве тоста, театральная*

история. Когда моя первая книжка, грехи юности, вышла третьим изданием (и я тоже был здесь чужой. Но совсем иначе, нежели сумрачный мальчик), то пьеса, по книге, шла уже в тридцати семи театрах Российской Федерации... да вы, верно, помните мой фильм, по той же книжке?.. глаза девочек стали фиолетовыми, громадными, как новгородские блюда (...на берегу у водной глади лежат в песке четыре блюда!..).

³ Любопытно, психологически: *мне* они внимали с религиозным уважением: а на мальчика глядели тупо, как на заговорившее полено. Бьюсь об заклад, они не поняли ни единого слова из того, что мальчик им говорил: мальчик *не отвечал* их представлению о людях, которые ходят на премьеры, что-то *значат* и что-то *умное* имеют сказать. Мальчик мог бы... не знаю, глотать огонь, творить из воды вино и из горелой спички живую розу: и в лучшем случае заслужил бы тупой, очень неодобрительный взгляд. Имеющая место социальная группа, заранее, не глядя, назначила ему норму поведения. Все они, априорно, считали себя умнее, воспитаннее, приличнее, и все они лучше знали жизнь! То есть: они были старше на несколько прожитых глупо лет, были развязней в обращении, с гордым шиком носили галстук из Гостиного двора и костюм от лучшего портного с Пяти Углов и имели в мозгу три готовые истины (крокодил летает, но *низенько*). И хотел бы я наконец догадаться: что такое *знать жизнь*? – Прим. С. В. – оцкого.

XXIII

...где я? ...ночь, что ли, прошла? Горела настольная лампа. (Как утром, подумал я. Изумрудная женщина!...) Гости исчезли; и девочки с фиолетовыми глазами исчезли; и хозяин.

Горела настольная лампа. Низкое окно в чёрную ночь, дождь, было распахнуто. Угрюмый мальчик, в детдомовском сереньком свитерке, сидел на кривом подоконнике, глядел, с горькой печалью в складке губ, в ночь. И я, присев возле мальчика на венский скрипучий стул, горячо его в чём-то убеждал, и клялся ему, что я сам из детдома, и пришёл в Город в лаптях, из дремучей деревни; очень хотелось мне *угодить* неуживчивому, угрюмому мальчику!

...исполнить любой его каприз...

Мальчик потянулся: жёстко, коротко, с хрустом! точно стряхивая осеннюю дремоту, ночной мерзкий озноб; и сказал, раздумчиво и хрипло: *я бы выпил чего-нибудь... и съел.*

Кость от ветчины (бывшей) нагло валялась на столе среди мусора и черепков: синих, в белых горошинах (?); *ничего не помню*; выпить не осталось ни капли; ну, и пьют же гости. Который же теперь час?!.. и будильник, на полочке с книгами, указал: без четверти одиннадцать. Господи, засмеялся счастливо я; и осенний ночной озноб текучей дрожью пробежал у меня по спине, капризно требуя похмелиться; неужели всё ещё длится всё тот же вечер? вечер вторника, двадцать первое октября? утренняя, легкомысленная насмешливость, удачливость, твёрдое веселье вновь, исподволь, овладевали мной; и ничего невозможного и невероятного не было для меня в вечернем, любимом моем Городе; *жди!*.. крикнул я мальчику, и... а в полутёмном коридоре, на соседском дореволюционном сундуке, под чёрным довоенным телефоном, где ветхие, красные, грязные обои были густо исписаны за тридцать лет именами и координатами всяких танечек, леночек, давно ставших старухами... дремал, роняя и тяжело поднимая голову, юный, с рыжей бородкой, хозяин; и я быстренько (*спаточки пойдём, спатеньки...*) отвёл его в комнату, уложил на измятую сидевшими здесь гостями постель, и, в пиджаке, выбежал весело на ночную набережную Фонтанки, в дождь...⁴ такси с огонёчком зелёным в тот же миг вынеслось из темноты и огней, *к гостинице! к ресторану; и бегом поедём обратно; не обижусь!* садись; добавлять, понимающе кивнул шофер, *усугублять*, отвечал я, смеясь, аргумент той

поры, вторник, думал я, нечётное, значит: *Катя*, Катенька, *перевезёт меня дощатый катер, с таким родным на мачте огоньком, перевезёт меня к брюнетке Кате, с которой я, пожелав что некстати, так много лет не больше чем знаком*, стихи любишь, люблю, весело отвечал я, удачлив я был, легкомыслен, красив, очень нравилась мне официанточка, темноволосая Катя... и Фонтанка ночная проносилась, со вздохами мостов, и я нравился Катерине, смешливой и очаровательной, высокая гостиница, видная издали в излучине Фонтанки (*и уехать бы мне в том такси домой, на Пять Углов; молить юную красавицу жену о прощении!..*), уже загораживала полнеба, налитая ярким жёлтым светом, в шестьдесят девятом году гостиница считалась ещё новой, шикарной, и кабак её числился одним из лучших в Городе, у Катеньки была дочь лет четырёх, и я не торопился с Катей сблизиться, подозревая матерей-одинок в неразборчивом, злом желании добыть себе мужа, а замужних, прекрасных, горячо мечтающих о любви женщин кругом множество, швейцар в ресторане любил меня крепче родни, деньги меня не заботили, я из дому не выходил без семи, восьми сотен в бумажнике, *громadные* в ту пору деньги, *ах*, Катюша, смеялся я, целуя её в горячее ушко за кулисами ресторана, и золотая серёжка в ушке дрожала, вкусно царапая мои губы, уже притащили подружки шампанское, пробка хлопнула, пена полилась в фужеры, *за Катю!* нет, красотки мои, я на минуточку...

⁴ *Ошибка, частая в различных Записках*: по тону, окраске, характеру воспоминания герою *хочется*, чтобы в тот вечер шёл дождь, за этою мелочью встают как вечная неверность человеческой памяти, так и одна из глубокомысленных школ отечественной литературы, унаследованная частью от романтиков (решительно *без* понимания романтической эстетики): *выражение* мятущегося духа героя, а также пророчеств, предчувствий и проч. – через природу; т. е. гром гремит и молнии сверкают – когда ужаси накалены, ветер свищет и дождь льёт – когда худо и тревожно, солнышко блещет – когда радостно; допустимо, как вариант изящного психологизма, *противопоставление*... и т. д.; лично я всем психологическим школам предпочитаю календарь. Нужно заметить (и это подтверждается Архивом метеослужбы), что вечером серого дня 21 октября 1969 года в Городе не наблюдалось ни дождя, ни мрачного ветра со стороны залива, ни угрозы наводнения. Вне зависимости от несчастий, счастья, восторгов или слёз каждого из четырёх миллионов его жителей вечерний Город был необычайно, отрешённо красив, в ожерельях фонарей; в тонком, прозрачном, искрящемся тумане. К исходу ночи, перед рассветом, ударил морозец; загорелись в чистом небе звёзды; и тонкий туман лёг на Город пушистым, осенним, праздничным инеем. Иней обнаружится в следующей, второй главе, где речь пойдет о КПЗ. Пока что мне приходится терпеливо ждать окончания затянувшейся первой главы, которая, в сущности, и не глава вовсе; а длинный и, смею надеяться, *важный* Пролог ко всей, изрядно подзапутанной, рукописи... – *Прим. Мальч.*

XXIV

Хозяин спал; сопел, за занавесочкой. Горела лампа на кривоногом письменном столе; мальчик листал внимательно книги по математике (хозяин, кажется, учился... и вообще, я видел его второй раз в жизни); и мальчик посмотрел на меня задумчиво и скучно: будто ему каждую полночь привозили (запыхавшись и торжествуя!) из лучших ресторанов лучший ужин.

...и расставляли услужливо перед ним, на тяжёлых тарелках с золочёной каймой: горячих и истекающих томящимся соком, зажаренных под прессом цыплят, икру, заливную нежную рыбу, холодное мясо, салаты, зелень, вино, мягкий хлеб и коньяк (мальчик, в коротких штанишках, обруч гонял, когда этот виноград наливался солнцем...).

Чисто, спокойно и будто бы привычно мой нежный мальчик выпил два стакана коньяку. Подумал, налил ещё треть стакана и выпил. Чуть поморщившись (*... вот так же покривил он губы у висячего мостика в августе, через семь лет, при первом выстреле в небо, от толчка рукоятки в ладонь!*). И принялся за еду.

Он был *очень* голоден. Но ел он неторопливо, сосредоточенно. Воздавая должное хрустящей корочке, вину, зелёной травке, коньяку. *Вкусно* ел. И при этом глубокая задумчивость не покидала его. Кости хрустели в тишине на волчоночьих его зубах (*... не пей, жёстко, не поднимая угрюмых глаз, попросил мальчик; ты нужен мне трезвый*).

Всё доев, мальчик выпил ещё. Кинул лениво на стол салфетку. Даже с виду он потяжелел, и как будто стал шире.

Нет, лениво он отказался от дорогой моей сигареты с золотой короной. Вынул из курточки испачканную пачку беломора. Прикусил папиросу: привычно, с неким раздражением в движении губ. Задумчив он пребывает часто, подумал я. И раздражителен часто. И курит – очень давно. Он прикурил от длинного пламени моей зажигалки (мода на длинное пламя: Трентиньян, фильм *Мужчина и Женщина*). Кивком поблагодарил.

Курил мальчик, глядя на меня сквозь дым: лениво, изучающе. Где-то я тебя видел, сказал я, *Возможно*, кивнул он; *лет восемь назад, на Ждановке*. Я засмеялся. Лет восемь назад он в первый класс ходил. *Ходил*, кивнул мальчик. Задумчиво он что-то вспомнил. Прищурясь от дыма, лениво вытащил из кармана дрянных брочек:

...внушительную пачку денег...

(*Черт!..*); отделил, не глядя: зелёненькую, в пятьдесят рублей. И положил, пристукнув жёсткими пальцами, на ресторанную салфетку. *За ужин*.

Горько я расстроился. Хотел удивить, порадовать, и вышло обидно. Будто я лакей его! Мальчик смотрел внимательно, холодно, как разглядывают муравья.

...и чтобы скорей покончить с этим, я, нервничая, скрутил зелёненькую бумажку, сунул в кармашек жилетки. Мальчик погасил папиросу: *пора мне. Должок за мной* (я, признаться, не очень понял его. И я всё ещё *мог не ходить за ним!*).

...и всё-таки я увязался! Провожу, во дворе покурим; душно здесь. *Иди*, равнодушно пожал плечом мальчик. Чёрной лестницей, с узкими железными поручнями, спускаясь (мальчик молчал, о чем-то глубоко задумавшись) в ночной, чёрный двор, я говорил без умолку, в надежде мальчика заинтересовать; вновь хвалился удачливой жизнью, литературой; и тут же и прилгнул... Что таить: я *невероятно* хотел понравиться ему!

Глава вторая

I

...И очнулся: затравленный, ошеломлённый, в страшном сердцебиении, испугавшись великого ужаса и отчаяния, защемивших мне сердце... очнулся в загадочном помещении с жёлтыми, грязными и неровными стенами. Помещение освещается тусклой лампочкой в сетке; и показалось мне ненастоящим. Жуткий страх, от которого сжималось и прыгало моё сердце, заслонял и затуманивал всё. Мне было *очень плохо*.

Попробовав приподняться, я увидел, что даётся мне это с трудом. Всё же я приподнялся, и сел. Безобразные грязные люди лежали возле меня на тёмных крашеных досках. В нише под лампочкой обнаружилась дверь: железная, тёмная и глухая. Я, поднявшись с трудом, побрёл к двери, опираясь о неровную, очень холодную стену. Железная дверь, прочно запертая, не имела ни ручки, ни замка. Я бессильно и вяло, а потом всё отчаянней, торопимый моим тём-

ным ужасом, застучал кулаком в железо холодное двери. Откликнулось эхо. Безобразные люди пошевелились.

– Ты!.. – сказал очень злобный, ненавидящий меня голос.

Хрипло:

– Кой ему мусор нужен?

– *Дай ему по глазам...*

– Ляжь! падла... – крикнул с ненавистью голос.

И я почему-то покорно, обессиленный болью отчаяния, рухнул на крашенный тёмной краской помост: не сознавая ещё ничего, кроме чёрного и громадного моего ужаса и отчаяния.

И в чёрное это отчаяние я провалился...

Когда я очнулся вторично, уже от лютого холода, в загадочном низком помещении, освещаемом тусклой лампочкой в сетке, я лежал один на тёмном нечистом помосте. Помост глухо врезан был в жёлтые, нечистые стены. В четвёртой стене, в которой мы ночью лежали ногами, продолблена была ниша и втиснута глухо железная дверь. В двери был глазок. Над дверью горела лампочка. Вдоль этой стены, меж помостом и дверью, был провал, небольшое пространство цементного пола, шага три в длину и шаг поперёк. Лютый, невыносимый холод, холод ледника, погребка шёл от каменных стен. Почему-то подумалось мне, что уже утро. Холодный несвежий воздух держал духоту ночевавших здесь неприятных людей. Всё тот же, мутный и жёлтый свет распространяла лампочка. Лёжа ничком и дрожа, я пытался согреть тяжёлое, бесчувственное лицо в ладонях, и дрожал так, что кости мои стучали о доски.

Дверь залязгала, залязгала, и тяжело распахнулась.

В тёмном её проёме стоял, упираясь в нечистый пол толстыми, крепко, ногами, грязный, крайне широкий: в сапогах и мундире, с мятыми и затёршимися погонами.

– Выходи, – предложил нелюбезно он.

– ...*Куда?*

– На отправку.

Я попробовал, без большого желания, встать, и нога моя, как перебитая, вихнула по цементному тёмному полу вбок: колено, распухшее, взвыло звёздной, неведомой болью, так что пот неуместно потёк у меня по лицу...

– Но! *придуривать...* Руки за спину!

И мы двинулись по цементному полутёмному коридору: я, едва ковыляя, тяжело припадая на левую и с руками, неумело скрещёнными на поясице, и он, неторопливо и грузно, привычно, позванивая и скрипя, на два шага сзади. Синеватый утренний свет сквозил робко в конце полутёмного коридора. Приблизившись к этому робкому, синеватому свету, я увидел порог, и за ним, в этом призрачном свете, дрянной закуток, грязный кафель и лужи, кран в облезлой и мокрой стене над округлой поржавленной раковиной и в цементном полу устройство: как на вокзале.

Мой вожатый меня смущал назойливой внимательностью; но безразличность внимательности дала мне понять, что дверей в туалетной комнате нет затем, чтобы он за мной присмотрел. С наслаждением, чуть ли не со стоном облегчаясь, я узнал, что желал помочиться – ужасно, и именно это желание вместе с холодом и внутреннюю тревогой возвестили мне утро.

Затем я попробовал умыться под струей ледяной воды над чёрной от ржавчины раковиной и едва не завыл: от боли, и от слабости, набежавшей вслед сразу за болью... осторожно касаясь лица холодными, мокрыми и словно чужими пальцами, я определил, что лицо моё безобразно разбито... осторожно и трепетно промывая ледяной и ломающей водой мои раны, вздрагивая всем телом от каждой, вновь обнаруженной боли, внутренне подвывая, я отдирал кровавую корку, смывал свежую кровь, слабея – и очень боясь, что закружится окончательно голова и я упаду. В лице, в костях его, дергалась боль. Колено и рёбра, под вздохом и в поясице: всё болело и выло. *Господи...* кто же это меня так?.. в носу, переломанном и распухшем,

и глотке всё было забито чем-то мерзким и густым, отчего неприятно и трудно было дышать; я стал вымывать это мерзкое и густое и увидел, что это засохшая кровь...

Меня долго, мучительно рвало; обессилев вконец, я поднимался с корточек, глотал жадно холодную воду, и меня рвало снова: чернью, мерзостью и болотной какой-то зеленью и желчью; изнемогая, я думал, что здесь и умру... наконец я почувствовал, что я пуст и бессилён. Упав грудью на раковину, я подставил разбитую и болящую голову под широкую ледяную струю, – с облегчением, вялым, чувствуя, как вода, освежая, течёт по загривку, по груди и спине. Мне захотелось вот так и уснуть: под струёй, лёжа грудью на ржавой раковине. Затем я плескал себе воду горстями на грудь; с мокрых волос текли струйки; пиджака на мне не было почему-то; и жилетка была вся в засохшей и чёрной крови, отчего меня вновь замутило. В крови, заскорузлые, были манжеты рубашки. Жилетку я снял с омерзением и, свернув, запихнул её и проволочную урну в углу...

– Пробросаешься, – буркнул вожатый мой.

...рукава мятой, грязной, промокшей насквозь рубашки оторвал по локоть и отправил туда же; и почувствовал себя легче.

Под потолком туалетной комнаты было крошечное, в два креста решётки, без стёкол, окно. В него втекал робкий, утренний и синеватый, осенний свет, втекали холод и свежесть; низ окошечка приходился вровень с асфальтом незнакомого мне и почти не видного каменного двора. На камне, на прутьях решётки в синеватом неясном свете лежал свежий иней. От холода, инея, свежего утра меня, мокрого с головы до ног, вдруг прохватила, заколотила дрожь.

– Выходи. Руки за спину!..

И человек в сапогах, мундире, с ключами, привел меня, мокрого, мерзкой дрожью дрожащего, по полутёмному цементному коридору в уже известное мне помещение, низкое и ледяное, с тусклой жёлтой лампочкой в сетке.

– ...Гд-де я?

– В КПЗ.

– Зачем? – я не понял его, дрожа.

– Кх-х!.. – сказал он. Он был неразговорчив.

Но лицо моё, видимо, изменилось...

– Низачем: дак на волю, – рассудительно молвил он. – А зачем: дак в Кресты.

Дверь захлопнулась. Лязг!..

II

Если вымолвить честно, я не хотел на волю. Воля была непонятна мне...

Я хотел домой.

Дрожа, я с отчаянием обозрел помещение, которое было: камера. И присел, дрожа, мокрый, зажав кулаки меж колен, – и помост, крепко сбитый и крашенный тёмной краской, был: нары. Ужас объял!.. Заточили. И я совершил что-то очень ужасное. Сердце прыгало. Внутри у меня дрожало.

«Пять лет лагерей!» – начертано было карандашом на стене. «Три года в Перми», «Небо в клеточку», «Манька сука» и «Мусор!». *Пять лет* подавили меня. Их привозят с суда, и они карандашиком. Разве суд говорит, куда увезут. Нет; отсюда на суд не... Конвойный сказал: в Кресты. «Кресты» называлась тюрьма; глухой тёмный кирпич... Что же я натворить мог? *Господи*. Кто меня так?.. Мысли прыгали. Дрожа, я постигнуть не мог, что сильнее всех обрушившихся на несчастную мою голову мук не побои, а тяжкая мука похмелья.

«...лет лагерей», «...Перми», «...сука» разноцветно крутилось перед глазами. Мне хотелось, чтоб в низкой и мутной камере обнаружилась пусть хоть крохотная отдушина. Пусть за

решёткой, но с воздухом, небом, инеем! Отдушины не было: имелась лишь пластина в углу, железная, с дырочками: вентиляция. Глазок в двери.

Лагеря. Зимний мрак и колючая проволока. Метель. Фонари, их качание на ночном ветру. Лай собак... долгий срок, много зим... я дрожал, замерзая, измученный и изводимый тревогой. В чём-то жутком я был повинен; похмелье выкручивало меня.

Тюрьма.

Выгоды бесчисленные свободы прихотливо и слабо увязались как-то в моём сознании с Пермью и неизвестной мне Манькой, и погасли. Воли в вещественном её воплощении я не усваивал. Мне хотелось лишь умереть.

Прижимаясь к нечистым нарам, тщетно надеясь найти в них хоть крошку тепла, я думал: вот закрою глаза, чтоб темно, и вздохну глубоко, и умру. Трусливо вздохнув, неожиданно я закашлялся: всей глоткой, промытой и вычищенной, я почувствовал, вдохнул наконец пропитавший меня и живущий здесь вечно запах тюрьмы: дезинфекции, ржавчины и ободранных стен, мочи, нужника, духоты от грязных людей и чего-то еще специфического, тюремного. И проникшись, как запахом, мучительной тоской бесконечных лет вони, решёток, конвоев, я поволчьи готов был завывать: *воли!..* хочу воли!..

Воля дышала утренним холодом за решёткою в грязном нужнике, лилась нежным утренним светом. В груди у меня защемило тяжёлой болью: так хотелось мне воли. Не зависеть, не подчиняться, стать как легкий, холодный, опущенный инеем ветер, текучим, как утренняя синева, и в любое мгновение уметь ускользнуть и уйти насмешливо – над решетками, лязгом, электрическим светом, над соборами, тёмными крышами, парками, горьким дымом и огоньками костров, я хочу быть как синее лёгкое утро.

Вот что такое воля.

От горечи я уснул.

И во сне мне виделась воля.

...Утро светлое и росистое над лугами и вольной, лежащей спокойно рекой, утро в тонком, прохладном начале лета. Зелень мокро, туманно темна, уже рассвело, но солнце ещё не взошло и стоит во всем мире великая тишь. И листья, и воздух сырой, и намокшие тёмные травы не шелохнутся. Луга выпукло и полого уходят вниз меж высоких темных кустов в прозрачную дымку и разводы тумана, что поднимаются, движутся неуловимо над светлой водой. И в высокой, намокшей росой траве: я, восторженный, тёплый спросонок, лет пяти или шести, я спешу вниз к реке, босиком, в драных трусиках и в промокшей уже понизу и великой мне, до земли, рубахе с мужского плеча. Дивный, необозримый в утренней дымке простор лежит передо мной, я, не помню зачем, тороплюсь вниз к реке, погружённой в полусонную дымку, к её свежей, заманчиво чистой, очень тёмной вблизи воде, и, конечно, задерживаюсь, чтобы со всей осторожностью тронуть каплю росы, зацепившуюся в волосиках узкого, тёмно-зелёного травяного листа, коснуться её осторожно, зацепить, холодную и сверкающую, и глядеть, как, прозрачно сверкая, она рассыплется на множество мелких шариков и стечёт тихой струйкой по тёмно-зелёному стеблю...

Двери. Камень! И лампочка в сетке.

Лязг!..

– Выходи. Руки за спину.

III

Врач заметил мне нынче после утреннего обхода, что если я не перестану нервничать и волноваться, то он отберёт тетради и запретит мне писать: мы вас лечим, стараемся уберечь, а вы все усилия наши зачёркиваете, что-то мрачное и тревожное пишете вы, вы пишете заманчиво лёгкое, сказал он, улыбнувшись, и печататься легче, и все будут читать и хвалить, и к

тому же, заметил он, то, что для сочинителя и тревожно и горько, для читателя часто: фью, чушь собачья (верно, *верно*, с тоскою подумал я, я пишу чушь собачью), я печатать записки мои не намерен, возразил хмуро я, и надеюсь, никто не прочтёт их, а вот это уже не существенно, мне заметил насмешливо он, ведь вы пишете, стало быть, в отношениях ваших с жизнью поднимаетесь на неизвестный и качественно необычный уровень, начинаете мыслить не реалиями, не явлениями, а *текстом*, вещью темной и слабо изученной нами, разумеется, ежели вы *сочинитель*, не бездарность и не графоман (я *бездарность*, подумал я горько), разумею под словом *текст* нечто, что отличается от заявления в жилконтору по поводу протекающей крыши, я не стал бы об этом вам говорить, но я помню прекрасно вашу раннюю книжку (*вот-те клюква*, огорчённо подумал я, меньше всего мне хотелось видеть читателя моей ранней, как выразился мой врач, вышедшей лет семнадцать назад и единственной моей книжки) и хочу вам сказать (*мне не хочется ничего услышать!...*), что книжка ваша удивительна прежде всего чистотой, чистотой и здоровьем, и потом уж талантливостью (*вот-те раз*, огорчился я), граф Лев Николаевич был совершенно неправ, утверждая, что все счастливые семьи схожи, а несчастливы все несчастливые семьи по-своему, это неверно, несчастье, так называемое, есть предмет медицины, и несчастливы все одинаково, по единой для всех и известной схеме, склоки, алкоголизм, побои, неудавшиеся любви, мотовство, ложь, измены, хищения, лицемерие, злоба, слёзы, гордо нести свой крест, всё известно, единая, повторяю вам, схема, что же касается *счастья*, то оно *вне* нашего знания, к сожалению моему, невзирая на кипы разноцветных брошюр, помню, был я проездом в Хабаровске и увидел на тамошнем клубе, доме, помнится, офицеров, афишу, извещающую о лекции с лаконичным, чудесным названием: *Цель и смысл жизни*, читает подполковник такой-то, продолжительность лекции сорок минут, вход за тридцать копеек, до сих пор, поверите ли, жалею, что не пошёл, ведь всего за сорок минут и за тридцать копеек; я отвлекся, и вот я к чему, полагаю, что *счастье* непонятным мне образом есть синоним таланта (я *несчастлив*, подумал я грустно), здоровья, почему все плохие писатели схожи друг с другом, все плохие писатели очень несчастливы, независимо от дырявых их башмаков или дач и дублёнок и золота в сейфах, несчастливы нездоровьем, они неизлечимо больны, существуют, должен заметить, и другие воззрения, например: считают, что художник есть исключение, что художник являет собою несчастный случай, считают, что здоровье в творчестве: когда пишут про ясных и крепкоголовых людей, ну а если напишут вдруг неурядицы, горести и душевные сдвиги, то это уже нездоровье, не знаю, читали ли вы, лет полсотни назад в наших литературных журналах писали о Фолкнере, что его *Шум и Ярость* представляет собою гниение (не читал, машинально отметил я): о великой, и крепкой, как морозный осенний день, книге! я физически не выношу нездоровья, извольте, я объяснюсь: когда утром я иду на работу и вижу на заборе плакат, где розоволикий строитель с квадратной челюстью и ямами вместо глаз одною рукой в рукавице кого-то приветствует, а другой что-то строит, я ощущаю ярость, ведь человек, сотворивший это, тягостно нездоров, вы поверьте, у него поражены очень важные сосуды головного мозга, и я ярюсь, оттого, что он хочет, чтобы эти сосуды были поражены у меня, я физически чувствую, как они закупориваются при взгляде на этого сварщика, господи, есть Моор, есть Леже, есть Карлю, рисовавший гаечный ключ, да, гаечный ключ в кулаке, но рисовавший так, что гаечный ключ запомнится мне на всю жизнь, он приятен мне, он человечен, он побуждает трудиться! сотворитель же сварщика, с розовым деревянным лицом и ямами вместо глаз, — злобный, уверенный хищник, за возню свою с этим плакатом в течение дня или двух он получит примерно столько, сколько наш главврач зарабатывает в полгода; и он мечтает, этот изобразитель, чесательна, чтобы у всех закупорились те же сосуды, что и у него, тогда жить ему будет удобней и комфортабельней, людей умных, талантливых он с наслаждением обвинит во враждебности, заговоре; обвинить во враждебности и в заговоре легко, и люди талантливые уступали соблазну; когда Миллер в своих *Ежемесячных Сочинениях* Сумарокова напечатал, а Тредиakovского нет, то Василий Кириллович, академик, написал просто-

душно в Синод, дескать, Миллер и Сумароков в журнале посягают на православие: до того привычно, что скучно; но наш плакатист приносит ещё один вред, он портит мне настроение. Людям нельзя портить настроение, когда они идут на работу. *Мне нельзя* портить настроение. Я врач. У меня тридцать восемь больных (*я бездарен*, подумал я, да... я нездоров, я несчастлив), хвала богу, есть Крюков канал, вдоль которого утром иду я в больницу, есть колокольня Николы Морского над каналом, догадал бог Савву Чевáкинского слепить игрушку (*ах, слепил бог игрушку*, подумал я, – *женские глаза...*), гляжу на неё по утрам, отчуждаюсь; добрею. Вероятно, талант есть здоровье нравственное, но талант иссякает, и нечем его подменить, не подменишь его умозрительностью, усилием, честностью, желанием искренним постичь истину, возвестить её, указать; вот и Лев Николаевич: грустно... но, поверьте, отчётливо видно, что *Войну и Мир* писал крепкий, нерушимейшего здоровья человек, и уже *Воскресение* сочинял утомлённый, измученный неверием, старавшийся убедить нас, а не себя... вы помните, у моего врача засветились весёлостью глаза, как солдаты походной колонной, песенники, накануне Шёнграбена: *песенники, вперед!* – ах, какие чудесные три страницы! и мой врач вдруг тихонько пропел: *выпускала соколá да из правóва рукава...* гениальный писатель!... но *Фёдор Михайлович*, тот, пожалуй, здоровьем сильнее, да, кивнул задумчиво я (вспомнил: ночь дождливая, поздняя осень, окно на канал Грибоедова, струйки дождя по стеклу, и Насмешница о Достоевском, смеясь надо мной), необоримого здоровья писатель, мечтательно сказал врач, и к старости становился всё крепче, мощнее, пронзительней, перечитываю *Дневник*, сколько свежести, остроты, или последние главы *Братьев*, десятая книга, *Мальчики*, мечтательность и любовь в глазах моего врача, глядевшего вдаль в окно, где в осенней печальной дымке плыла лёгкая колокольня Чевакинского, странно переливались, это ведь самое светлое, прозрачное, что он написал, ну да что там. Есть физическое томление красотой, чисто любовное, исключительно, вокруг этого бродят и млеют, одни не усматривая очевидного, другие не рискуя сказать, хоть говорено было не раз, и век назад, и того много раньше, красота и эмоциональность и сила духа жёстко связаны, понимаю, что вскользь говорить об этом несерьёзно, но касаясь только здоровья, – всё искусство заверчено на древнем могучем винте, вся природа эстетического волнения: притягательность, удовольствие, наслаждение, боль и страх этой боли, страдание, умирание, очищение, – и познание через чувственность: наслаждение, боль и страх, очищение болью, вот вам вся поэзия, и драма, и литература: в схеме; форма в искусстве есть содержание (...Мальчик! Мальчик! – подумалось мне, это *он* мне говорил!), движут формой могучие древние силы, силы рода, вот почему, по личному моему убеждению, в искусстве нечасты женщины, их начало чаще пассивно, выжидательно, их начало приемлюще, а не дающее, но уж если они творят, то вершиной – Сапфо, изошрённая чувственность; а бесполость, бессилие так бессилием и остается; стиль ваш, форма суть мировоззрение, лишь *условие* существования, и не только ваше условие, но и условие для читателя; если *нет* у вас этой силы, то вы *не* существуете, сочиняете дурно романы, которые суть многотомные характеристики от месткома, розоволикий сварщик на тысячах городских заборов; и с другой стороны творческого нездоровья – анемичность (*я бессилён*, подумал я, *я бездарен*, *я скоро умру*), плаксивость, выдаваемая за размышления, всё знакомо, давнишнее, столетней всё давности, читайте Чехова, но и чеховскую *ироничность* прочитывают теперь так, будто писано было *всерьёз*; томление сонное по утопиям, при неспособности полной не то чтобы забить в стену гвоздь, но чихнуть вкусно; вид пропасти, как говорит мой брат, вызывает у них мысль о конечности пути, а не о мосте, ну а вид человека, строящего этот мост, будит в них естественное раздражение: не внимает всей прелести вздохов о жизни (про меня это он, *про меня*, думал с горьким отчаянием я, это я вздыхаю о жизни), я скоро умру, сообщил я ему как некую новость. Умрёте, согласился он буднично. Если не перестанете сочинять ваши записки. Я вынужденно улыбнулся. Погибая от жажды, сказал я, я выпил чашу с водою из Леты... научил меня этим словам один мальчик, давно, в чудесном старинном доме на Грибоедовом канале, вам бы, доктор, познакомиться с

этим Мальчиком, вы бы пришлось друг другу, жаль, он, кажется, умер. Мой врач терпеливо и с мягкой улыбкой смотрел на меня, он, казалось, был старше, много опытней и, наверное, много умней меня и интересней, мне хотелось бы взглянуть на его любовниц, взгляд на женщину может многое сказать о мужчине, которого она привлекает, мимолетный, случайный наш разговор у окна в коридоре происходил нынче утром, и в течение дня я заметил, что мне стало легче, во всяком случае, я иначе стал относиться к моему молодому врачу, перестал ревновать и прислушиваться к его смеху с сёстрами в коридоре, беседам его с другими больными, ощутил даже некоторую приподнятость, *гордость* от общения с ним; да, дела мои, видно, плохи. Кто ваш брат, спросил я, вы говорили что-то о вашем брате, приятно он засмеялся, и я понял, что он очень любит брата, наверное, младшего, горемычный писатель мой братец, на семь лет старше меня, он занятный писатель, фамильная гордость, понимаете ли, или фамильная скромность не позволяют мне говорить о нём в превосходных тонах, но он интересный писатель, весьма, как фамилия вашего брата, спросил я, боясь быть назойливым, я знаю многих писателей в городе, ну-у, его вы не знаете, он ещё ничего не напечатал, и врач легко назвал мне фамилию... рассказ *Повесть!* – сказал я, *Ленинградская Правда*. Лето; семьдесят шестой год; на четвёртой странице; внизу слева. Лето семьдесят шестого года, последние дни июня... *вы отчётливо злой читатель*, засмеялся мой врач, я, например, даже года не помню, ещё бы не помнить мне, подумал я, тот летний день, ведь в тот день я в последний раз *перед тем* видел Мальчика, да, сказал врач, до сих пор это единственный напечатанный им рассказ, у него готовы три книги, лежат, ждут часа в издательствах... однако! Мы с вами зацепились тут друг за друга и треплемся уже тридцать минут; дело ждёт; вы пишите свои записки, если вам они как отдушина, но старайтесь быть веселей; и старайтесь быть внимательней; чаще посматривайте на Николу Морского; поможет; и мой врач улыбнулся серьёзно и пошёл торопливо вдаль по громадному каменному коридору старинной больницы: в шапочке и не очень чистом халате, летних брючках, тапочках, деловитый; смешной. Не очень усвоив многое в его непривычных мне, излишне убеждённых словах и тронутый добротой его ко мне, я хотел уверить его, что нервничать буду меньше и напишу... и задумался: а *что*, собственно, я напишу? Что напишется, то напишу. Жизнь *ничтожна* моя; отчего же тогда так мне *горько*, что я умру? Гм! Всё, что было: редакции, деньги, постели, мои и чужие, кружева чужие, рассветы в чужих домах, казённая мебель в учреждениях, ненужные мне совещания с ненужными мне людьми, сигаретный дым, неразлично схожие попойки, пишущая машинка, ночи, измучивший меня роман, больничные каменные своды... *неволя*. Почему же почти за сорок лет я ни единого дня не был так волен, как в то утро, росистое, в тумане, над Волгой, пятилетний, босой и в рубашке отца, убитого, сгинувшего под Смоленском... почему?

IV

Двери. Лязг!..

– Выходи.

И я повиновался. Я заложил руки за спину: я уже привыкал к тюрьме.

В тёплой комнате, куда привели меня из подвала по двум лестницам, в тёплой комнате, чистой, высвеченной и согретой щедрыми солнечными лучами и где прутья решётки были выкрашены в бежевый цвет, чтобы не оскорбить взгляд видом чёрной решёткой зачёркнутого осеннего ясного утра, в праздничной и теплой комнате ждал меня очень чистый, прекрасно выпавшийся, добродушный майор. Мне почудилось, что мой приход под конвоем (конвойного майор тотчас же выпустил в коридор) доставил выпавшемуся майору истинное удовольствие. В недужном моем состоянии, я приободрился от доброжелательности майора и от солнечных тёплых лучей; я забыл даже про разбитую, гнусную мою рожу, взглянув на которую непривычный к подобным вещам человек должен был содрогнуться.

– Тру-ту-ту, – заметил майор с приятным мне сожалением, и добавил не очень понятное: – *Не бузил бы, держался тихо, получил бы свой штраф, четвертной, и квитанцию в зубы. Гуляй!..*

Его чистый, без пылинки, письменный стол приятно сиял в лучах утреннего солнца, и на чистом столе были два телефона, чёрный и белый. *Жили у бабуси*, запел вкрадчиво кто-то хороший у меня в голове, *два весёлых гуся, один чёрный, другой белый, два весёлых гуся!..*

– Где пиджак? – спросил майор участливо. *Жили у бабуси!..* – Где пальто? Документы?

Ах, пропали пиджак и пальто, дорогой мой товарищ румяный майор, документы пропали! но какое иметь они могут значение рядом с утренним солнечным счастьем, горячим, от которого ничто почти не болит и так сладко хочется спать. *Жили у бабуси!..*

– Чудненько, – подвёл майор неизвестный мне итог. – Что ж делал ты вчера утром?

– Утром я ходил в театр, – уверенно, возгордившись, проговорил я.

– Зачем?

Я огорчился оттого, что бестолковый мой, чистый майор ничего не понимает.

– Просмотр. Понимаете? Ну! (...*Один чёрный, другой белый...*) Когда для своих. Чтобы вечером не утруждать. А вот вечером нынче: премьера. Премье-ера! (...*Два весёлых гуся.*)

– Ну а после театра?

Недовольно я сморщился. Я хотел поведать про театр. В театре было чудесно. Всё, что приключилось потом... что-то чёрное. Ничего я не помнил.

– Где ж раздели?

– Улице, – недовольно проговорил я.

– На Фонтанке? (Я огорчённо кивнул.) И сколько их было?

– Четыре.

– Прикурить попросили? – подсказал майор понимающе. – И затем сзади по голове! (Я усердно кивнул.) Ну, а маленький, тёмный такой, он был в кепке?

– *Кепке!* Кепчонке такой...

– Чудненько, – поскущел майор. – Врёшь ты все! ...дишь! С пятьдесят четвёртого года на улицах не раздевают, в районе. Вспомни лучше, где пил. И с кем пил. Корешки твои тебя и отделали, по сердечной дружбе. Или: бросил пиджак в ресторане, на спинке кресла, пошел прогуляться... В ресторане вчера?..

– Ресторане.

– Или пил на квартире?

– Квартире.

Ничегошеньки я не помнил: один чёрный, другой белый, два весёлых гуся... сколько выпил вчера?

– *Много.*

Неосторожно двинув рукой, я даже ослабел от боли: невыносимо болело запястье, вероятно, вывихнутое вчера, всё в чёрных, пролегших наискось синяках.

– Так! – майор вынул лист. – Фамилия, имя, отчество. Год рождения, место рождения, национальность. Где живёшь, где прописан, род занятий, место работы. И где документы?

У бабуси... гуся! Уходя из дому, взял я вчера документы свои или нет? Пиджак, куртка на тёплом меху, куча денег, жилетка, всё куда-то исчезло, и в том числе: вишнёвое, драгоценное удостоверение члена писательского союза! Мне вспомнилась тёмная, скорбная и красивая театральная сцена, и снова захотелось мне тихонечко умереть. Тем временем майор с моих слов заполнил типографский свой лист; известие, что я личность известная, творческая, никак не отразилось в его выпавшемся лице.

– ...Меня скоро отпустят?

Майор развеселился, а затем посмурнел. И, заговорив официально, казённым голосом, называя меня гражданин и на вы, что чрезвычайно мне не понравилось, рассказал мне... уста-

новление личности гражданина, задержанного органами охраны внутреннего порядка по причине... упомянутый выше гражданин в течение ночи на двадцать второе октября одна тысяча девятьсот шестьдесят девятого года... майор точно, по памяти перечислил часы, минуты, фамилии неизвестных мне должностных лиц и свидетелей... нарушение правопорядка... оказание сопротивления представителям власти... закона... действия... каковые... предусмотрены Уголовным кодексом РСФСР, статьи такие-то, пункты такие-то... будет предъявлено... обвинение... поддержано... с привлечением к судебной ответственности... *два весёлых гуся*; чудесный театр как-то сразу померк у меня в голове; и солнце в осеннем окне за решёткой потухло.

V

– Товарищ... гражданин майор... – сказал я нехорошим голосом, тщетно водя сухим языком по пересохшим губам, – разрешите жене позвонить. Может, дома мои документы? Я писатель! Я член союза писателей!..

Задумался майор.

– Как жену звать?

– Наталья... Георгиевна.

– Номер?..

Я назвал ему номер. Он снял чёрную трубку, покрутил неторопливо диск и стал ждать, в задумчивости вбирая и выпячивая губы, постукивая ногтем по спичечному коробку. Господи! что угодно! только пусть она будет дома... – Наталья Георгиевна? Доброе утро. Майор Макавей приветствует, из милиции. По вопросу вашего мужа. Нет, ничего, ничего. Жив-здоров. Побит, правда, немного. Говорит, раздели на улице. Нет. Задержан. Вёл себя плохо. Нет. В камере предварительного заключения.

– Позвольте... – еле выговорил я, невероятно волнуясь. – Можно мне? Я спрошу... документы...

– Гм, – задумчиво посмотрел на меня майор.

И, подумав:

– Поговори.

– Наташка! Наташенька!.. (*Что ты хочешь*, прохладно спросила моя жена.) Наташка! Я прошу тебя: посмотри, где мои документы. Понимаешь... (*Мне некогда.*) Умоляю! Всё крайне серьёзно!.. (*Где лежат твои документы?*) Я не знаю, где! На столе! в столе, в секретере! в шка-тулке. В сером костюме... (*Как ты мне надоел. Хорошо, я сейчас посмотрю...* весь вспотев, ошалев от тяжёлых ударов в висках, я ждал. *Нет твоих документов.*) Поищи!.. я очень тебя прошу... Если найдешь, привези их... – я посмотрел на майора... – в *** отделение. И ещё: позвони, пожалуйста, срочно... позвони Сыромятникову, домой! И... и дяде Серёже. (Сыромятников был одним из секретарей правления союза писателей, особенно благоволившим ко мне. Дядя Сергей Иванович, брат Наташкиной матери, был полковник милиции.) Я умоляю тебя!.. (*Я никак не могу!.. я опаздываю. Я позвоню вечером. Заболел Костелянец и просил меня прочесть лекцию о Гольдони...*) Какой, к черту, Гольдони! Какой Костелянец!! Ты понимаешь, что меня сегодня посадят! В Кресты!!

– Ты становишься невыносим, – сообщила моя жена.

И положила трубку.

– Да... – заметил философически майор Макавей, сочувственно поглядев на меня.

– ...Ну так? – доброжелательно спросил он. – Вообще ничего не помнишь?

– Утром я ходил в театр, – неуверенно проговорил я. И озлобился, искренне: *кой чёрт потащил меня в этот театр!*

VI

Возникновение в кабинетике, озарённом октябрьским утренним солнцем, моей жены я вижу отчётливо и сегодняшним пасмурным утром...

– Вы читали сентябрьскую книжку уважаемого журнала? – спрашивает меня мой врач.

Нет, говорю с раздражением я, не читал, я готов заподозрить доброжелательного врача в мерзком сговоре с миром, вознамерившимся известить меня проклятой сентябрьской книжкой, *не читал*, говорю я резко, сознавая с тоской, что получается у меня это грубо, с ненужной злостью, и запикиваю сентябрьскую книжку журнала поглубже под сваливающуюся подушку: туда же, где лежит неудачливая моя тетрадь. Ночью я снова, отчаявшись, выдрал из неё дюжины две страниц, где описывал возникновение в осеннем луче солнца неизвестной юной женщины. Гадко, худо писать, глядя на мир из нечистой больницы; писать нужно вечный праздник; и печально, что слова непослушливы, неудачливы, и хуже всего, что приходится располагать их в какой-то последовательности: ненужной, неистинной, ведь последовательность навязывает нам цепь восприятия, тогда как впечатление одномоментно; чем короче и ярче миг впечатления, тем коварней, трагичней воспоминание, которое есть наслаждение и медлительное разглядывание... легко жить живописцам, владеющим возможностью изобразить миг свидания так, что можно будет долго разглядывать: здесь и солнце, и искра в глазах, и чёрная гроза потрясений, и вся давешняя история, и будущность изображённых людей... что же мне, невезучему, делать с неловким и косным словом? Ах! больница, давно полюбившаяся мне: тоска, тоска по *возможности* прошлой жизни, по невозвратности красоты, чужой. Ударяюсь, мягко, лицом в подушку – и входит, в октябрьском солнце, – она! Вся: лёгкость, заманчивость... и жестокость: попробуйте описать! Когда-то я дерзко считал себя описателем, притом неплохим... как, *как* изложить мне её:

женственность и надменность,
тонкость, презрительную,
высокомерность, вечную,
ум,
умение нравиться,
холодноватость,
отчуждённое, холодом пахнущее, очарование,
изящество, врождённое и воспитанное,
и красоту, помрачительную...

и в глазах, тёмных, – гневная искра, холодная, тёмная... Вошла, – возвестив о себе ещё издали: стремительным и раздражённым звуком высоких своих каблучков. И вошла: как возникла в дыхании заиндеветшего утра, чуть запыхавшись, в запахе легчайшего меха, осеннего нежного холода и духов, в распахнувшейся от быстрой ходьбы шубке... мех тёмной лисицы, тёмный мех, возбуждавший во мне удовольствие; и женственность, да, – умение окружать себя чужой нежностью и возбуждением удовольствия, мне удивительно, как я люблю её, чужую мне женщину, и волнуюсь, вспоминая её. Шейный платок тяжёлого шёлка, тонкие черты матового лица, и огромнейшие и тёмные, высокомерно укрытые тенью ресниц глаза. Гневная, напряжённая... и запах осеннего заморозка, и духов. Раздражённая ухоженной, тонкой (украшенной янтарем и серебром) руки, в которой лежали перчатки... шубка распахнулась от быстрой ходьбы, юбка, вязанная где-то в Лиможе, чудесно обтягивала, чувственно рисовала её узкие колени (уже позже, когда Макавей любезно предложил ей сесть, и она села, чуть боком, уверенно, легко и небрежно откинув полу тёмной, лёгкой шубки. В ней были в ту пору загадоч-

ность, тревожная и волнующая несочетаемость черт юной девочки и – повадки, манер, взгляда умной и взрослой, насмешливой женщины. В мужчинах такое противоречие всегда зажигает интерес, интерес же – уже половина влюблённости, а ей было тогда... да, ей было двадцать четыре...). Красивые, выгнутые презрительно губы юной женщины, возникшей в осеннем холоде и духах, несли высокомерие, за которым я умел различить тёмный и яростный, упорно удерживаемый гнев... на шее повязан с изяществом и умением платок тёмного шёлка. Гордая голова, гордая высокая шея и две родинки на шее делали ту, чужую мне женщину необычайно привлекательной. Убранные умно волосы, открывающие прекрасно очерченную голову, непокрытую в ледяное утро, по моде той осени; серьги: янтарь в осеннем серебре... мучительно, всей тоской избитого моего существа, с мучительной, обострённой чувствительностью я понял в тот миг, какая она мне чужая. Чужая! Мог ли я губами ласкать в горячей и лёгкой постели её, голенькую, открывавшуюся мне, молящую о ласке... Итак, – изложив инвентарь внешних достоинств вошедшей в кабинет, в луч осеннего солнца женщины, которая, по непроверенным воспоминаниям, числилась некогда *моей*, я могу с чистой совестью написать: жена моя вошла уверенно, в распахнувшейся от быстрой ходьбы шубке, красивая помрачительно, тою бледностью и красотой, что лишь усиливаются от тёмного, трудно удерживаемого гнева: озарённая солнцем осени, что сияла инеем и переливалась туманно в окне за решёткой.

Меня жена моя удостоила кратким, безразличным взглядом (успев, как умеют исключительно женщины, высмотреть и безжалостно изучить меня всего и вынести окончательное решение) и уверенно, чуть иронично обратилась к майору.

...Её жизнь загадочна для меня. Что-то я в последние годы слышал о ней: иной муж, неудачные роды, разведена и ещё раз замужем, ребёнок, вновь разведена; в четвёртом замужестве видели её на премьерах, приёмах... Как я *зол*. Как ничтожен, как мстителен, нехорош и завистлив, как приятно мне думать, что она подурнела, живёт трудно, тянет лямку, без радости и удач, пишет в год свои восемь никому не нужных листов, как положено кандидату, и в утренней темноте, под колючим снегом всё в той же, облезлой уже, шубейке... я ничтожен, я нехорош, но могу вас утешить: всем вам нужен повод для жалости, всем вам нравится пожалеть, и никого из вас в жизни не заинтересует женщина, *дающая* повод к жалости; могу вас утешить. *Моя* (в таком давнем прошлом, что кажется моё прошлое уже придуманным) *жена* всё так же красива, всё так же юна, всё так же помрачительно хороша, привлекательна, всё так же блистает, но уже на несравненно высшем уровне: такие женщины умело реализуют себя в замужествах, восходя уверенно и величаво; теперь она замужем за... (имен, по ничтожеству моему, называть не смею) особую прелесть ей, в блеске её положения, придает и то, что она, ко всему, ещё что-то пишет: легко, не без талантливости, хотя чуточку витиевато, что, впрочем, почти что умно, ей завидуют и мужчины и женщины, и стараются, все без различия, ей угождать, завоевать как великую милость её очень внимательный и недолгий, задумчивый взгляд, и мужчины, встречаясь нечаянно с нею, припоминают вдруг, чувствуют грудь, тоскою в груди, полузабытые строки о том, что подле такой вот женщины: *бледнеть и гаснуть – вот блаженство...*

VII

Моя жена положила на сверкающий в луче утреннего солнца полированный стол зелёный, ветхий мой паспорт и драгоценное, тяжёлое, тёмной кожи с золочёным тиснением удостоверение в том, что я являюсь членом творческого писательского союза, и меж нею, ухоженной, выпавшейся, и отлично выпавшимся, весёлым майором внутренних дел по фамилии Макавей начался легко, с полувзгляда, ироничный, чуть-чуть, разговор: недоступный утомлённому моему пониманию; узким краешком я как будто бы чувствовал, что ироничность их отнесена к моему существу, к моей ночи: чудом, неведомым мне, они сошлись в снисходитель-

ной невнимательности к моим жалким, убогим проказам; мне следовало огорчиться и возразить, но я слишком измучен был неудачливой, и минувшей, к счастью моему, ночью; изо всех сил вслушиваясь, я, тем не менее, куда-то стал исчезать: разомлевший от чудесного появления моей милой, горячо любимой жены, горячих лучей заслонённого чистыми стеклами солнца... видел, как майор похохатывал, и моя Натали, очевидно увлечённая им, улыбалась... красивые тёмные губы... загадочно я исчезал, поджимая озябшие, изболевшиеся, избитые руки, различая смутно, сквозь тёплый и ласковый сон, запястье в ужаснейших синяках; мои пальцы левой руки незаметно, устраиваясь поудобнее, чтоб теплей, легли на запястье правой, улеглись точно вдоль чёрных пятен... *и я вздрогнул, очнувшись.* Точно меня ударили. Почувствовал под пальцами боль: до жути известную мне...

И я *вспомнил!* вспомнил: ...Мальчик легко уклонился; мой удар мне казался губительным, молниеносным, и Мальчик ушёл легко: и перехватил мою руку в запястье... вот тебе и тонкие пальчики; я чуть не застонал от боли... *с-сволочь. Гадёньши...* вспомнил. Вспомнил: в окончании вчерашнего вечера (*в жизни больше не буду пить!*), уже после полуночи, я и Мальчик вышли во двор.

Чёрный колодец двора, мокрый после дождя, освещён был редкими окнами. Мальчик хмурился, был задумчив. Мальчик тяготился мною, и хотел уйти. В подворотне с ободранными, чёрными кирпичными стенами горела жёлтая лампочка. В подворотне мы задержались: я удерживал Мальчика, уговаривая поехать развестись, к весёлым и милым девчонкам. Чудовищно я был пьян. Значит: я *удерживал* Мальчика. Мне непременно требовалось *дружить* с ним. Я чувствовал, что я в чём-то перед ним провинился... *в чём?* – вот этого я не помнил. Мне хотелось ему понравиться; чтобы Мальчик заметил, что я интересен. Я невероятно хотел подружиться с ним. Так любезен, приятен был Мальчик мне, что даже к дрянной его курточке и к серенькому, дырявому свитерку я чувствовал горячую симпатию. Мне хотелось ему помочь, чтобы жить ему было легче. Мне хотелось ему покровительствовать, мне хотелось открыть ему изумлённые дали талантности и любви. Прощай, сказал Мальчик, хмурился; и вдруг твёрдо взглянул мне в глаза; я точно помню. Неприятно взглянул. Прощай, сказал Мальчик сквозь зубы, зачисли за мной должок. Тебе лучше меня не удерживать, сказал холодно Мальчик, жёстко высвобождая из моих пальцев рукав своей курточки. Я удерживал его и о чём-то, о чём-то, *о чём-то* просил, почти умолял.

– Как ты? *трезв?* – спросил Мальчик.

– Очень даже!.. – заверил, обидевшись, я.

К сожалению моему, в ту пору я мог, выпив ведро и допившись до невменяемости, сохранить манеру и вид человека, слегка захмелевшего, но крепкого, как телеграфный столб.

– Что ж... *дело твоё,* – сказал скучно Мальчик и посмотрел внимательно на свою папиросу.

И я тоже, свесив внимательно голову, стал смотреть: что такое он там увидел? Тонкие, в ссадинах (от уличных драк, догадываюсь я теперь) пальцы Мальчика неловко дрогнули и папиросу выронили. Какое-то время она падала, светясь огоньком, и, ударившись о тёмный, мокрый асфальт, разбросала красные искры. Машинально отметил я в тот миг, что ноги Мальчика напряглись и качнулись... и додумать я не успел. Жёсткий, крайне жестокий удар в переносицу ослепил; меня затопило. *Ох, ты...* помнится, охнул я, обессилев весь вдруг, *умеют же* в этих дворах так бить. Удар приключился двойной, с жёстким стуком, словно в бильярде: в переносицу и затылком о кирпичную стену. Мальчик скучно смотрел на меня. Переносицу Мальчик проломил мне сразу; я захлебнулся кровью. Мальчик внимательно, очень спокойно, без малейшей враждебности, злости, мести в серых глазах смотрел на меня. Убедившись, что я устоял, он ударил меня ещё раз; тем же правым прямым. За ударом я опять не мог уследить. Вторично: в десятую долю секунды, удар, помрачающий всяческое сознание, с костяным бильярдным стуком, двойной: в переносицу и затылком о стену. Теперь кровь из носа и изо рта хлынула чер-

ню мне на грудь, грянуло, зазвонило, телефон гремел, чёрный, майор Макавей взял чёрную трубку, майор Макавей, доложил в трубку он. В чёрной осенней ночи, лампочка в подворотне, кирпич стен: достоверность угрюмая ада. Глухая осенняя ночь. И мне стало страшно: Мальчик очень *внимательно* смотрел на меня, и *ни малейшего выражения* не было в этих глазах. Так смотрят на паука. Очень рад, сказал майор Макавей. Мне следовало, учитывая чугунную мою пьяность, упасть просто Мальчику в ноги, ударом и всей моей тяжестью сшибить Мальчика с ног... и никуда бы он не делся! Но я был гомерически пьян! И я стал для чего-то стаскивать с плеч пиджак под изучающим и равнодушным взглядом Мальчика. И когда мои руки очутились повязанными пиджаком у меня за спиной, тонкий, юный мой Мальчик ленивым движением, с удручающим безразличием, точно отбывая нелюбимый урок, жутким ударом, свинцом ударил меня под вздох. Очень рад, говорил майор Макавей. Я беззвучно упал на колени и лицом, изуродованным, в мокрый, грязный, затоптанный глиной асфальт: почти плача. Меня в жизни ещё не били с такой удручающей и бессмысленной жестокостью. До свидания, сказал вежливо майор Макавей. И я всё же поднялся. Я обучен был подниматься. Мой Мальчик не спеша уходил, точно выполнив неприятный урок; уходил, освещённый лампочкой уже в следующей подворотне, выводящей на Фонтанку; уходил, в дрянной своей курточке, и прикуривал на ходу. Дрожа, я с трудом поднялся: я был обучен. Выпутавшись из пиджака, отшвырнув его, я, задыхаясь от боли, бежал за Мальчиком. Во второй подворотне была широкая лужа с проложенной посередине доской. Доска подо мной подвернулась. Упав боком в лужу, взметнув тучи брызг, я почти не заметил лужи и глины. Задыхаясь от боли, я догнал его на Фонтанке, у деревьев перед фасадом Военно-медицинской академии. Мальчик успел обернуться. Жена моя, ласковая красавица, говорила с майором твёрдо, ласково и иронично, её слов я не понимал, мой удар мне казался губительным, молниеносным, но Мальчик ушёл, уклонился легко, цепким, точным движением перехватив мою руку в запястье. Выкручивая неторопливо мою руку, выдёргивая умело её на себя, чтобы я не имел возможности вырваться, ради вас, говорил майор Макавей, и в кровь разбивая мне губы и брови, и ногой ниже колена, по голени, боль была вопиющей, впрочем, я был очень пьян и настойчив, наконец Мальчик *вывернул* мою кисть и в то же мгновение попал мне в колено как надо, с момента уроненной папиросы прошло, может быть, секунд тридцать; *молодец*, Мальчик; в морскую пехоту его; я послушливо рухнул на колени, беззвучно, дурея от боли, и повалился вбок, вслед за выкрученной рукой, теперь звонил белый, майор Макавей, доложил майор Макавей. Мальчик сверху обрушил ребро ладони: я прикрыться успел головой и плечом, удар Мальчика раскроил мое ухо, не достигнув желаемого... и я Мальчику, видимо, надоел. И он бросил меня, отпустив мою руку: я упал, как мешок. И я снова поднялся; так точно, подтвердил майор Макавей. Так точно: я обучен был подниматься, как бы худо мне ни пришлось. Мальчик вновь уходил, безразлично, прикуривая на ходу. Я догнал его посреди мостовой. Безумный ночной грузовик чуть не снёс нас... окатив нас крупными брызгами. И тут Мальчик; каков сукин кот: я ведь был килограммов на тридцать пять тяжелее его, да, сказал очень вежливо майор Макавей, и конечно же, я растерялся. Головой ударился о гранитный край тротуара. До свидания, сказал вежливо майор Макавей, очень вежлив был Макавей. Дальше я ничего не помнил. Вероятно, я вспомнил, как следует драться, но не там, где это позволено, обращая ко мне назидательно, добродушный майор... что на первый раз... и учитывая... ограничиться, молодец какой Мальчик. В морскую пехоту его, а по телефонам Сыромятников и дядя Серёжа, я с огромным трудом поднялся, и прошёл два шага к столу, документы засунул я в задний карман грязных, мокрых штанов, и в подвале, неподалеку от камер, я чувствовал их запах, я три раза расписывался в чём-то, с трудом держа карандаш. Гадёныш ваш Мальчик; молодежь растёт; мне вручили мой галстук, заскорузлый от крови, платок, весь в чёрной засохшей крови, запонку и шнурки. Всё это я с омерзением выбросил в коридоре в урну. *Молись на жену*, сказал мне ещё в кабинете майор Макавей. В иное утреннее Лиговка пронзила, заставила задохнуться меня, задрожать от морозной ярко-

сти, лютого холода; *что-то*, думаю я теперь, *подельвал в то утро Мальчик? в утро двадцать второго октября...*

Глава третья

I

Отчим умер в январе 1980 года. Третьего января.

Об этом мне сообщила по телефону дворничиха тётя Нюра. Её заботливость обо мне всякий раз искренне трогала меня, хотя и оплачивалась, нерегулярно, червонцем или пятёркой. Скорую, рассказала Нюра, вызвали рано утром, и я как-то не задумался о том, кто её вызвал. При нём всегда были какие-то бабы. Скорую вызвали утром, но уже было поздно. Сердце. Сердце, подумал я. Печень! С таким сердцем и печенью при бесконечном питье он продержался излишне долго. И я снова подумал, что всю свою жизнь про болезни он врал. Пустяковый удар по лбу, полученный много лет назад, он сумел обратить в инвалидность и с тех пор не работал, получая исправно пенсию. Инвалидностью там и не пахло, *я это знал лучше всех*. Всю свою жизнь он врал. Но на этот раз доигрался. Три дня новогодней попойки свели его вон.

– Похороны сегодня, – сказала Нюра. – *Холод!* Вы пойдёте?

– Нет, – сказал я, – пусть он будет всегда для меня как живой.

– А на поминки пойдёте?

– Нет, – уже раздражаясь, сказал я, – я не пью с незнакомыми.

Я не видел его восемнадцать лет. Восемнадцать лет и пять месяцев, с сентября шестидесяти второго. Мне рассказывали, что он подурнел, поседел до гнилой белизны, голубые глаза его выцвели и стали почти сумасшедшими, но держался он ещё более высокомерно и в ответ на слова, которые полагал вздором (а вздором он полагал почти всё, что ему говорили), саркастически хохотал. В кругу близких всегда, как я помнил, он любил глумиться над миром, мир был глупее его, и я мог представить, как ликовал, хохотал он, принося домой пенсию.

– Не пойдёте... – жалостливо сказала Нюра. – А меня пригласили. Я им так помогала, *так помогала!*.. Вы вселяться-то будете?

– Нет. Квартиру я буду менять.

– Беды!.. – вздохнула Нюра. Нюра была удивительный человек. Беззастенчивая и настырная, она всюду, за что ни бралась, соблюдала свой интерес. Если она помогала на похоронах, сомневаться не приходилось, что денег она выцыганила немало, и всё это дивным образом сочеталось в ней с жалостливостью. Я подозревал, что жалостливость употребляется ею неосознанно, чтобы выиграть время на соображение. – Бёды! – вздохнула Нюра. – Такá канитель.

– Канители не будет, – сказал я. – Ремонт надо сделать.

– Кто ж сделает? – жалостливо сказала Нюра. – Надо ли?

– Надо, – сказал я.

– Разве сестра моя, Шура... на стройке работает.

– Пусть будет Шура.

С сестрой Шурой, подумал я, дело иметь спокойней, чем с неведомыми мужиками. Сестра Шура не будет каждое утро канючить на опохмелку, убеждая, что, дескать, без этого работа будет *не та*.

– Только она *далеко* сейчас, в Юго-Западе... знаете, где это строят, за Автовом?

– Ничего! На метро четверть часа.

Даль, в какую сестре Шуре предстояло тащить со стройки инструменты и ворованный материал, должна была обойтись мне дороже.

– Ничего, – сказал я.

– А мебель?

Разговор начинал меня утомлять.

– То, что в кухне, возьмите себе. Остальное я вывезу.

– Так когда ж это будет? и сколько всего вывозить!.. – закручинилась Нюра, ощутимо начав с напряжением вспоминать, какое добро находилось на кухне...

– Поминки сегодня?

– Сегодня, – быстро сказала Нюра.

– Звоните сестре своей Шуре. Завтра вечером пусть начинает.

– Ой, – сказала вдруг Нюра. – А *Людочка*? Там же Людочка с ним живёт.

Я помолчал.

– Прописана?

– *Нет!* не прописана и не расписана... Но она с ним *давно*, года три живёт...

– До свиданья, – сказал я и положил трубку.

II

Наутро, около девяти часов, в синих, неуловимо светлеющих сумерках, выпив тёплого пива у тепло освещённого ларька в переулке возле Сенной, я вышел на Фонтанку. В эту тёмную, морозную зиму со мной что-то произошло. Спавший всегда до полудня, я вдруг перестал работать ночами, ночная работа стала безрезультатной. Ночами я спал, глубоко и спокойно, и просыпался рано, в пятом, шестом часу. Фонарь светил в заиндевшее окно. Не зажигая света, я включал свой большой и длинный приёмник, закуривал, с удовольствием глядя, как наливается светом панель. Играла музыка. Женский голос рассказывал мне о том, что произошло в мире. Утешительного происходило мало. Грязные новые танки лязгали в тихих тропических утрах по улочкам непроснувшихся городов, армады шли хмуро по океанам, раздавливая присмирившую на рассвете волну, злые со сна механики поднимали зловещие светлые самолёты на палубы, залитые росой. Я видел эти армады в Атлантике, и в Индийском... приятного маловато. В полутьме, освещаемой мягко шкалой, я курил и слушал про авианосцы, и меня уводило другое: рассветы спокойных широт. С рассветом над серым, наметившимся горизонтом поднималось и разгоняло усталость и дурь освещённой шкалами ночи дыхание утреннего, неясно зелёного океана, хорошо, если день будет серый, неяркий, в такой день, несущий до сумерек оттенки рассвета, захочется вдруг сочинить письмо, хотя ни okazji, ни портов ещё долго не будет, и странно под тёплым и серым небом, на бесконечной зыби, писать: «29 декабря...» Я грустил оттого, что прошли мои вахты, и уже их не повторить. Сколько ты ни пускайся в океанское плавание пассажиром и ни мёрзни на рассветном ветру, это будет игра. Если ты пассажир, то тебе нужно спать, добровольные бдения – глупость, настоящим рассветам, чтобы их оценить и понять, нужна занятость делом, злость на старпома, половина бессонной, изнурительной ночи. Настоящий рассвет хорош тем, что тебя скоро сменят, дадут хлеба с маслом и кружку какао, хорош тем, что достался тебе без твоей воли, расписанием вахты, и ещё хорош тем, что, будь твоя воля, ты бы его честно и с наслаждением проспал. Вращая медленно ручку, я покидал волну тревожащих новостей и подолгу, сквозь писк и морзянку, треск, сводку погоды для летящих в ночную Прибалтику экипажей Аэрофлота, бормотание утренних новостей на всех языках, выискивал добрую музыку. В седьмом часу зимнего утра удивительно чисто был слышен Париж. Темнота за окном, за двойными морозными стеклами не собиралась синеть. Скрежеща и постанывая на поворотах, расходились по городу длинные, промёрзшие за ночь вагоны трамваев. В освещённом тепло приёмнике, в тёмной, слабо согретой комнате звучал негромко Париж, я знал из газет, что декабрь в Париже тёплый, с дождями, уже слышанные мною новости теперь были ослаблены мягкостью и быстротою певучей речи дикторов, интимностью интонации и плывущим легко грассированием и оказы-

вались вовсе не так уж плохи. Мягко вступал оркестр, в его звуках также была интимность, пожелание лёгкости и добра. Я знал, что живут парижане скудно, экономят на отоплении и еде, трепещут начальства и в конторах выдерживают дисциплинку, какая не снилась у нас старпомам на образцовых крейсерах, что они не фривольны, пьют мало, потому как выпивки дороги, что любовница у парижанина редкость, знакомства и нравы не те, ну а если она завелась, то он держится за неё, как за мертвый якорь, что красавиц на Елисейских полях много меньше, чем у нас на Большом проспекте, я всё это знал, но *Париж!*.. Париж моих юных мечтаний, голубой Париж книг и беспечный Париж на упругой короткой волне ничего не имели сходного с грузным одышливым городом серых забот. Морозным и тёмным декабрьским утром в мягко светящем приёмнике мне пели прекрасные баловницы, юные и насмешливые голоса, и таинственность музыки вновь беспокоила меня, как в детстве, когда я по многу раз прокручивал на патефоне не дававшую мне покоя пластинку, меня беспокоило то, что нельзя сохранить в себе песню всю сразу, здесь была тайна многозвучия оркестра, тайна скрытого несогласия голоса и оркестра, тайна развития и протяжённости песни во времени. Песенка юных парижанок в ровно гудящем приёмнике требовательно развертывалась во времени, я *проживал её*, и она становилась *моей жизнью*, парижская песенка, интимность и доброта, вкус, золотое уменье таланта стать незаметным, живой водой пахло вольное дыхание ритма, за беспечностью таилась нервная тонкость. Песенка держалась во времени на внутренних переменах, стройная несоразмерность ей сообщала разбег, вся заманчивость и красота были в неудержимом нарушении равновесия, было боязно, что мелодия, тонкая и кружевная, распадётся... и всякий раз, когда песенка, головокружительно устояв, возносилась на новый виток, становилось радостно. Я думал о том, что всякая законченная красота тяжеловата, скучна, красота настоящая – в опасении за нестойкость её, в её скрытом стремлении соскользнуть из ранящего очарования. Очарование песенки было в насмешливости, насмешливость предполагает ум и лёгкую грусть нерассказанного... в слова песенки лучше было не вслушиваться, слова очень просто могли оказаться вздором, слова не зависели от певиц, но, светясь паутинкой, рассыпался смешливый припев, и, *услышав лишь* голос, который вёл за собой всю песенку, можно было влюбиться окончательно и навсегда. Я включал в изголовье лампу. Я был несколько недоволен, я ловил себя на том, что завидовал этим лёгким насмешливым голосам, я был втайне всё ещё убежден, что красивым и юным женщинам легко и заманчиво жить. Лампа в чешском стекле загоралась неярким жёлто-коричневым светом, который я так любил, и высвечивала постель, пепельницу на столике, заставив темноту за морозным окном ещё более почернеть. Я брал свежую папиросу, усмехался собственной вздорности и, предвкушая спокойное удовольствие, брал книгу, отложенную вчера в полудреме. Я был ровно, спокойно счастлив, читая хорошие книги. Прекрасная проза, как музыка, разворачивалась во времени, но несла в себе слово, повороты и яркость мысли, и была бесконечно зрительна, музыка ускользала – проза оставалась со мной, и, переворачивая страницы, я безраздельно властвовал временем, я мог снова и снова, хоть в тысячный раз, заставить Адама Саймза звонить возле двери полковника Блаунта, и с нетерпением ожидать, что скажет ему полковник, и тихо смеяться, не столько от слов, сколько от удовольствия: как хорошо это сделано, я мог снова и снова часами смотреть, как печальная Джулия осторожно идёт коридорами лайнера в штормовой сентябрьский день, и как в каюте другого белого лайнера, переплывшего океан, красит губы чужая мне женщина, и как страницу спустя, не заметив меня, не узнав обо мне никогда, она выйдет на палубу в синей косынке... проза развертывалась, звуча и блистая красками, завораживая линией, и, как в музыке интервалы, в прозе стройность рассказа удерживали умолчания. Нестерпимость, нестойкость красоты мучили меня в лучших книгах, страницы грозили распасться на строки, и распались бы, если б не нашли утверждения в последующих, не менее прекрасных и нестойких страницах и главах, и, когда больше не было сил от скольжения на этой блестящей зелёной волне, когда не было сил, не позже, но и не раньше, книга ускользала от меня, книга окан-

чивалась, легко и немножко грустно, хорошие книги редко кончаются весело. Я был счастлив, читая прекрасные книги, но лишь в эту зиму довелось мне узнать, как спокойно и хорошо брать книгу, проснувшись. В эти утренние часы я читал лишь известные мне книги, неизвестная книга могла оказаться жестокой, могла оказаться плохой и могла надломить и испортить весь день. Я читал, приёмник звучал, негромко и чуть потрескивая, я читал, безразлично прислушиваясь к промёрзшему звону трамваев, к пробуждающейся Петроградской стороне. Я вставал, утомившись лежать и проснувшись уже окончательно. Запахнувшись в старый халат, я брёл ещё спящим коридором нашей тихой, пенсионной квартиры. С громом и журчанием обрушивал из заржавленного холодного бака воду в туалете, умывался на кухне. Возвратившись в комнату, открывал форточку, разгоняя морозом застоявшееся и слабое ночное тепло, и с четверть часа играл чёрной, очень холодной гирей, парижские девочки уже пропадали, и я слушал третью программу, «Пионерскую зорьку», концерт для тружеников села. Разогревшись, дыша тяжело, я брал мыло, резиновую мочалку, большое махровое полотенце и шёл в пустую холодную ванную. Там, поигрывая краном от ледяной воды к кипятку и обратно, равнодушно, привычно растирал массажной мочалкой протяжённые широкие шрамы на груди и спине, следы той поры, когда окончилась молодость. Наверное, эти, неласковые, следы были причиной того, что почти во все утра в году я просыпался один, мне всё время мерещилось, что они могут вызвать отвращение и испуг, а когда мне случалось быть с кем-то, я оставался в грубой рубашке. Растершись колючим от старости полотенцем, я жарил яичницу с колбасой, на сале, и заваривал крепкий, вяжущий небо чай. Мыл тарелку и сковородку, мыл чашку, молча радуясь благодати проведённой на кухне горячей воды, брился, с неодобрением разглядывая вянувшее и кренившееся к постоянной задумчивости лицо. Выключал приёмник, одевался, тщательно наматывая старый вязаный шарф, рассовывал по карманам спички, мелочь, папиросы, закрывал форточку, запирали на ключ комнату и, спустившись старинной холодной лестницей, выходил в полутьму, на мороз. Ещё не начинало светать. Ранние зимние пробуждения стали подарком, мне дарилось утро, которого я в предыдущие годы не знал. Это были прекрасные зимние утра, с дымами в тёмном прозрачном небе над снежными крышами, с ярким месяцем в чёрной щели переулка, где в домах горят, незнакомо и редко, жёлтые, красные, зелёные окна. Я заметил, что стал в эту зиму необычно спокоен, а может быть, терпелив в отношении ко всяким неглавным вещам, которые прежде мучительно меня изводили. И вчерашний звонок тёти Нюры не отяготил меня. Сев за стол и начав работать, я забыл про него.

III

Выйдя в синей полутьме по скрипучему жёсткому снегу на набережную Фонтанки, я повернул направо, вспоминая, каков с виду нужный мне дом. Я был здесь единственный раз, на правах совладельца, три года назад, накануне вселения отчима, был из чистого любопытства и из целей знакомства с дворничихой.

Над Фонтанкой светлело, время шло к девяти часам, и мной начинало овладевать обманчивое ощущение, что с рассветом на улице холодает.

На другом берегу, за стынувшими в полутьме синими, голубыми деревьями, горел всеми окнами широко раскинувшийся над набережной и украшенный колоннадой заснеженный, заиндевелый фасад здания Военно-медицинской академии. В окнах горел яркий казённый свет, только окна перевязочных, где работа ещё не началась, светили фиолетовым бактерицидом. Больницы пробуждаются, как казармы, почти по барабану. Вихрем промчались сёстры – и сдали дежурство, поспешили домой, в магазины, за кефиром и колбасой. По жёлтым неряшливым коридорам клиник потянулся болезненный народ: курить, кашлять, глотать таблетки, мелко ссориться в умывальнике, занимать в столовой места, чтобы первым съесть кашу и жёлтый хлеб с белым маслом и после ждать неизвестно чего; ожидания и прогулки по лестницам и коридо-

рам, процедуры, боль, зимняя духота, запах больницы, заклеенные наглухо рамы, в которые всё же сквозит ужасно, и бесконечная значимость всяческой мелочи: как улыбнулся врач, какая дежурит сестра, пересохшие сигареты, глухая выматывающая вражда с человеком из пятой палаты, и весь этот вздор обсуждается и разносится, пока не утрачивает всякий смысл и не обретает замкнутость и величие целого мира, мир внешний гаснет и отступает и погружается в никуда, и этим для долгосрочных своих пациентов больницы разительно схожи с тюрьмой.

Морозец был жёстким, и было ещё не понятно, куда переломится день, к теплу ли и серому небу, к морозу ли с солнцем. Дом, куда я, по воле морозца, начинал поспешать, три года назад претерпел капитальный ремонт. Стены дома остались прежними, внутри же всё выстроили заново, и где некогда был осязаем лабиринт пропахших жильцами, полуслепых комнат, в пустовавшем в течение года пространстве, где кружил сухой снег и томились дожди, возникла и определилась однокомнатная квартира с комнатой в двадцать два метра, огромным, идущим углом коридором, ясной широкой кухней, туалетом и ванной. К этому формированию, возникшему в воздухе из кирпича, ржавых балок, штукатурки, паркета, обоев, я имел до сих пор отдалённое отношение. В своё время я строго предупредил, что любая попытка подделать хоть раз мою подпись, без чего невозможна была махинация с этой квартирой, будет дорого стоить. Бывший голубоглазый пытался меня извещать и пугать при посредстве различного вида гонцов. Являлись какие-то бородатые, дыша туманами хриплого пива, и, невнятно о чём-то справившись, просили малую помощь в размере пяти или трёх рублей («Если нет, то и два давайте...»), являлись шустрые бабоньки в котиковых воротниках, норовящие влезть в мою комнату и быстро всё высмотреть, являлись люди с *достоинством*, несколько застеклевенные и желавшие, в видах *достоинства* и позднего часу, некоторым образом заночевать; гонцы имели успех незначительный, до тех пор пока не явился ко мне напряжённый и гордый своей *престижной* замшевой кепочкой молодой человек. Очевидно, на мой счет он был основательно предубежден, что бесхитростным людям заменяет и взгляд и развитие, и, по юношеской простоте, убедил себя сам, что *из долга порядочности* он обязан меня презреть. Сама форма приветствия, произнесённого им, от души меня позабавила. «Ну ты!» – сказал он, встав на моём пороге. «Ты кто, милай, будешь?» – спросил я, хотя мог и не спрашивать, и я равнодушно подумал, что дни бывшего голубоглазого сочтены, что прежде старухи с косой к таким людям приходит сентиментальность, и голубоглазый дожил до того, что начал выискивать своих тщательно забытых детей и налаживать с ними основанную на презрении ко всем остальным дружбу. «Я – сын», – объяснил заносчиво молодой человек. Он волновался, будто пришёл требовать сатисфакции. Я столь был растроган, что даже забыл спросить, с какой глупостью он ко мне послан. Никаких нехороших чувств я к нему не испытывал и поэтому ничего худого ему делать не стал. В низу лестницы я сообщил ему несколько сведений из правил хорошего тона, но не думаю, чтобы они пошли ему на пользу, порода не та. Как бы то ни было, но визиты гонцов прекратились, и бывший голубоглазый прибегнул к помощи почты. Время от времени я получал от него отпечатанные на машинке записочки, которые вряд ли печатал он сам, там были огрехи, характерные для машинисток. Записочки были без подписи и были бы оскорбительны, если б не были так смешны. В них старательно избегались обращение, личные местоимения и все малейшие признаки формальной учтивости. Записки начинались ссылкой на высшие силы. Там, где в прошлом столетии написали бы «Богу угодно...», он писал: «Паспортистка сказала, что надо...»

И вот, думал я, поднимаясь по лестнице, чистенькой и неудобной, как во всех домах, вышедших из капитального ремонта, вот настало то время, когда сообщить мне, что «Богу было угодно...», было б донельзя кстати.

IV

Я отворил дверь своим ключом.

Отворив дверь, увидел, что ключ мне помог случайно. В дверь были врезаны ещё два замка, был привинчен тяжёлый засов и вколочен чёрный кованый крюк. Затоптанный пол прихожей пересекала полоса мутноватого света, дверь в комнату была приоткрыта. В эту дверь был также врезан тяжёлый английский замок.

В комнате разговаривали. Кто-то медленно убеждал кого-то в том, что Брак – плоховатый художник.

Раздеваться я не собирался, я пришёл ненадолго. Я вошёл в комнату, сказав «здрасьте», и повесил шапку на первый увиденный гвоздь.

За низким столом, заваленным грязью, что звалась накануне закуской, сидели, с трудом опершись о стаканы, две личности, с изумлением посмотревшие на меня. Позади них на круглом высоком столике стояла увядшая ёлка. Иголки её порыжели, местами осыпались. Светились блёстки, цветное стекло шаров, погасшие лампочки, в пустоте рыжих веток и проводов я увидел игрушки из «Чипполино», сияющего набора, подаренного мне бабушкой двадцать пять лет назад. Я любил его страстно и всегда, наряжая тёмную, влажную, пахучую ёлку, играл, представляя, что здесь будет замок, а здесь тюрьма... Под ёлкой, под книжными полками спал на голой продавленной раскладушке толстый в малиновом свитере. Стены в жёлтых обоях были завешаны полками, пожелтевшею графикой, акварелями. Висело узкое зеркало, готическая афиша балета «Собор Парижской богородицы». Окно было задёрнуто клетчатой коричневой шторой. Мутный свет источала старая люстра. Тяжёлый дух прокисшей попойки стоял в комнате.

Мебель, сдвинутая заметно с привычных для мебели мест, вносила дух переезда. Книжный шкаф был, как положено, заперт. Одно стекло в его дверцах было старым, матовым с витиеватым узором, другое, когда-то разбитое, заменялось тонким оконным стеклом. Письменный стол был завален хламом, ключ торчал в правом верхнем ящике, это было нарушением правил. Расстегивая пальто, я прошёл в середину комнаты. На застеленной тахте спала светловолосая женщина. Лица её не было видно – только волосы, узкие плечи, обтянутые халатиком, и лежащая на подушке рука. На тонких спящих пальцах светилось золотое, безвкусное толстое обручальное кольцо и невесомое старое золотое колечко с рубиновым камнем.

Маленькие, бережно выкованные золотые лепестки удерживали крохотный тёмный рубин...

Расстегивая пальто, я дошёл до окна и раздвинул грубую штору.

Белый свет, мутно смешиваясь с электрическим, потёк в комнату. Я распахнул форточку. Холод ударил в лицо, зашуршал по паркету бумажным сором.

В городе почти рассвело. Далеко видны были кривые снежные крыши, изгиб сизой под снегом Фонтанки, голубые купола Троицы, трубы, дымы, синий прямоугольник высокой «Советской» гостиницы.

– Закрой... – сказали мне сзади. – Холодно.

Я повернулся.

Гостям было лет под сорок. Судя по глазкам и пёрышкам в бородах, они уже выпалились и теперь, мирно завтракая, обсуждали пути мирового искусства.

– Закрой ты её... не надо!

– *Вот что, ребята.* Дорогие мои. Мне очень нужно поговорить с Людочкой. Поэтому я очень прошу вас сейчас уйти. Я вас *очень прошу*.

Тот, что был ближе, глубоко и надолго задумался. Второй показался мне более понятливым. Я вынул паспорт, раскрыл и, подойдя, показал ему. Вытянув шею, он начал вчиты-

ваться... Устав держать перед ним паспорт, я закрыл его и положил в карман. Пять строк в моем паспорте сообщали: *«Ленинград. УВД Октябрьского района. Прописан. Набережная Фонтанки...»*, далее следовали номер этого дома и номер этой квартиры.

Первый тем временем додумал свою мысль до конца.

– *Чего ты шумишь?..* – сказал он.

Но второй, неизвестно что вычитав в моём паспорте, вдруг слабо махнул рукой:

– Пойдём...

– *Куда́ мы пойдём?* – изумлённо уставился на него первый.

– Пойдем... *Потом.*

– Ты понимаешь, что ты говоришь? *Ты понимаешь, что́ ты говоришь?*

– *Пойдём...* – очень тихо, морщась, сказал второй и снова махнул рукой.

– П-льто мое – где?

Трогательно подсобляя друг другу, они в четверть часа надели пальто. Первый долго копался, сопя, в углу и выкопал непечатую бутылку. С большим трудом он засунул её в карман...

– Стоп, – сказал я. – А этого кто заберет?

– *Митьку?* Надо забрать, – сказал первый, – *Митьку надо забрать...*

В полчаса растолкали, поставили на ноги Митьку, обрядили в пальто – и ушли, раза три попытавшись напялить на Митьку мою шапку.

Я захлопнул за ними дверь, вернулся и выключил люстру.

V

Всходило солнце.

Осторожное, чистое январское солнце легло на Троицу, на гостиницу, на дальние снежные крыши. Но видно было, что это уже ненадолго и что солнце, поднявшись, исчезнет в морозном дыму.

– *Вставайте, девушка.* Проспите царствие небесное. Вставайте, вставайте.

Она недовольно, со стоном зашевелилась.

Оперлась на локти, подняла заспанное, мятое лицо и, щурясь от света и неудовольствия, от падающих на глаза волос, спросила сонно:

– *В чём дело?*

– Где вы живёте?

– Здесь...

– Об этой лежанке уместнее будет рассказывать в прошедшем времени.

– *Вы кто?* – спросила она, подумав.

– Но если лежанка вам так понравилась, возьмите её с собой.

– А-а... – нехорошо, утомлённо засмеялась она, бессильно откидываясь набок, – *вы этот самый...*

– Да, – сказал я. – Этот самый.

– Закурить у вас есть?

Голос у неё был *хорош*.

Она вытащила из моей пачки папиросу, и я поднёс ей огня. Огонёк моей спички празднично задрожал в рубиновом камешке.

– Спасибо...

С трудом устроив подушку повыше, она с облегчением оперлась спиной и мрачными глазами оглядела комнату. Пепел она бессильно стряхивала на пол.

– Чего вы хотите?..

– Сесть.

– Ну, присядьте куда-нибудь... *Господи! Не гремите вы так!..*

Самым чистым казался мне письменный стол. И шторой я смёл весь хлам с него на пол: мужские рубашки, бумаги, аптечные пузырьки, валик для типографской краски, стаканчик с отточенными карандашами и прочее.

– Почему вы на стул не сели?

– Простите?

– *Почему вы на стул не сели?..*

– Тут кругом ваше бельё.

Я сидел на потёртом сукне стола, с большим удовольствием разглядывая гравюру, которую успел подхватить. Гравюра изображала деревья и дом. Чтобы зритель долго не мучился, внизу была надпись: «Ленинградский пейзаж». По полю гравюры криво шло дарственное: «Людочке с дружбой, любовью Митя», дата была вчерашней.

– Дайте пива, – сказала она. – Вон, на полке.

– ...стакана чистого нет.

– Дайте так. Откройте... Вы будете?

Я отказался.

Она села, свесила вялые ноги. Не глядя вниз, нашла босыми ногами тапочки, и поднялась. Потягиваясь, как кошка, спиной, одёрнув небрежно халатик и закидывая измученно назад спутанные несвежие волосы, она пошла к двери. Посмотрела с гримасой на ёлку, на столик, где грудками высилась грязь и в тарелках лежали окурки. Недовольно сняла всю посуду и составила на пол, под ёлку, взяла со стула клетчатую рубашку, плеснула на столик водки, рубашкой смыла жир, чёрный пепел, присохший портвейн и вытерла полированную поверхность насухо и до блеска.

– Ёлка осыпалась. Глупо... Выпьете водки?

– Я не пью с утра.

Она пожала плечом. Ушла, возвратилась, шаркая тапочками, с мокрой тряпкой, ещё раз утомлённо вытерла столик, безнадёжно осмотрела комнату и ушла.

Возвратилась она минут через двадцать, умытая и небрежно расчёсанная, с палехским круглым подносом в руках. На чёрном блестящем лаке и ярких цветах подноса стояли холодная, запотевшая водка, бутылка кефира, вкусного даже на вид, высокая рюмка с золотым ободком, высокий стаканчик с цветным изображением старинного автомобиля, перец, уксус, горчица в высоких гранёных флаконах и тонкие, не для вчерашних гостей, тарелочки с золотой каёмкой, – ресторанное рыбное заливное, похожее на осетрину, тонко нарезанные булка и серый хлеб, две горячие, мокрые, только что сваренные сардельки. Вилка, нож, льняная салфетка, сигареты и зажигалка. Сигареты были английскими, зажигалка австрийской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.